

ЕВА ВЕРЕСОВА

Снег — настоящий. Нефть — нет. Любовь — как получится!



# Шейх в Кочках

Новогодняя комедия

Ева Вересова

**Шейх в Кочках**

«Автор»

2026

## **Вересова Е.**

Шейх в Кочках / Е. Вересова — «Автор», 2026

Мне шестьдесят пять. Зять у меня теперь насовсем, муж научился говорить «я тебя люблю» — три раза за сорок один год, дочка ждёт сына. Живи и радуйся. Но Митрич подслушал мой разговор и разнёс по всему району: «К Петровне шейх едет. С нефтью». А едет к нам Абу Хамад — рыбак из Дубая, который за семьдесят три года ни разу не видел снега. Глава района везёт телевидение встречать инвестора. Мы прячем поросёнка. Батюшка учит «ассаламу алейкум». Коля ищет компасом с трактора, где у нас Мекка, и переносит ради этого уборную. А следом на чёрном джипе приезжает настоящий миллиардер. Порыбачить. И селится у моей подруги Любы — самой острой на язык продавщицы Костромской области. Сорок один год я замужем. Я вижу, когда мужик врёт. Этот — что-то скрывает. Кто из них настоящий шейх, Большие Кочки поймут только к Масленице.

© Вересова Е., 2026

© Автор, 2026

# Ева Вересова

## Шейх в Кочках

Ева Вересова  
**Шейх в Кочках**  
*Новогодняя комедия*

### Аннотация

Мне шестьдесят пять. Зять у меня теперь не напрокат, а насовсем. Муж научился говорить «я тебя люблю» — целых три раза за сорок один год. Дочка ждёт сына. Живи и радуйся.

Но тут Митрич на крыльце магазина подслушал мой разговор и к вечеру разнёс по всему району: «К Петровне шейх едет. С нефтью».

А едет к нам Абу Хамад — рыбак из Дубая, сын ловца жемчуга, который за семьдесят три года ни разу не видел снега. Едет сторожить внучку Миру: она полгода будет записывать, как говорят в костромской деревне.

Глава района везёт телевидение — встречать инвестора. Мы прячем поросёнка. Батюшка учит «ассаламу алейкум». Коля ищет компасом с трактора, где у нас Мекка.

А следом на огромном чёрном джипе приезжает Геннадий Павлович. Настоящий миллиардер. Порыбачить с Колей. И почему-то селится у моей подруги Любы — самой острой на язык продавщицы Костромской области.

Сорок один год я замужем. Я вижу, когда мужик врёт. Этот — что-то скрывает.

Кто из них настоящий шейх, Большие Кочки поймут только к Масленице.

### Часть первая. Шейх едет

#### Глава 1.

#### В которой к нам едет шейх

Слухи в Больших Кочках ходят быстрее трактора.

Это я вам как фельдшер говорю. Сорок один год.

Если у Шишкиных утром отелилась Зорька, то к обеду об этом знает Судиславль. Если Митрич в пятницу выгнал самогон, в субботу к нему приезжает участковый. Не за самогоном. Попробовать. Если у кого-то в Кочках заболело ухо, то к вечеру у половины деревни болит ухо. Из сочувствия.

А если Галина Петровна Морозова в пятницу в пять утра сидит в бане в тулупе и разговаривает с Дубаем — к шести об этом знает вся Костромская область.

И — не так.

Совсем не так.

\* \* \*

Было это пятого декабря. В пятницу.

Пятница у нас теперь — особый день.

По пятницам Коля встаёт в половине пятого. Без будильника. Сорок один год встаёт без будильника — тело само знает. Надевает тулуп. Валенки. Ушанку. Берёт телефон — новый, Светочка подарила, с большими кнопками, хотя кнопок там нет, там экран. И идёт в баню.

В бане у нас интернет.

Лёша провёл. Летом. Я уже рассказывала.

А в пять утра, по-нашему, из Дубая звонит Абу Хамад. Со своего причала в Дейре. Там у него шесть. Он с удочкой. Коля — на полке, в тулупе. И они — молчат. Полчаса.

Абу Хамад ловит. Коля смотрит.

Иногда Абу Хамад показывает рыбу. Коля говорит — «ну». Абу Хамад смеётся.

Так — каждую пятницу. Год почти.

Люба говорит — это у них клуб. Мужской. Без слов.

Я говорю — у Коли все клубы без слов.

\* \* \*

А пятого декабря Коля вернулся из бани не через полчаса.

Через десять минут.

Я ещё печку не растопила. Сажу на корточках, лучину щеплю. Дверь — хлоп. Коля. В тулупе. С телефоном. Лицо — как будто ему трактор подарили второй раз.

Нет. Не так. Как будто трактор — сломался, а потом сам починился.

— Галя, — сказал Коля.

— М?

— Там Мира.

— Где?

— В бане. — Пауза. — В телефоне. Тебя.

Я встала. С лучиной в руке.

Мира — это внучка Абу Хамада. Двадцать один год. Студентка. Учат русский. Говорит так, как у нас в Кочках никто не говорит, — как в книжке. «Галина Петровна, я бесконечно рада вас видеть». У нас так даже на похоронах не говорят.

Я её люблю.

Я её в Дубае лечила. От сердца. Ну — не от сердца. От обиды. На дедушку. Это одно и то же, если вам двадцать.

— Что случилось? — спросила я.

Коля пожал плечами.

— Говорит — важное.

— А ты что?

— Я сказал — ну.

— А она?

— Она сказала — «позовите, пожалуйста, Галину Петровну». — Пауза. — Вежливо.

Я накинула платок. Бабки Нюрин, оренбургский. Мой теперь. Валенки — Колины, мои у печки сохли. И побежала.

В баню.

В пять утра.

В декабре.

Темно — хоть глаз выколи. Снег по колено. Мороз — двадцать два. Звёзды — как гвозди. Я бежала через огород и думала — сейчас упаду, сломаю шейку бедра, и Светочке придётся лететь из Дубая на шестом месяце, а Коля будет варить мне кашу. Без соли. Он всегда без соли.

Не упала.

\* \* \*

В бане было тепло. Коля с вечера протопил — специально. Чтобы в пятницу сидеть.

На полке лежал телефон. Экраном вверх. В экране — Мира.

В платке. В тёмном. В очках. Сидит, видно, у себя в комнате. За ней — окно. За окном — темно, только огни. Дубай не спит. Дубай вообще никогда не спит, я туда год назад летала, видела.

— Галина Петровна! — сказала Мира. — Доброе утро. Простите, что так рано. Я бесконечно...

— Мирочка, — сказала я. — Не бесконечно. Говори, что случилось. Дедушка здоров?

— Здоров.

— Мазь мажет?

— Мажет. Каждый вечер. Он говорит — пальцы как у молодого.

— А что тогда?

Мира помолчала.

Сняла очки. Надела. Опять сняла.

Я этот жест знаю. Так Светочка в детстве снимала варежку, когда приносила двойку.

— Галина Петровна, — сказала Мира. — У меня — новость. Две. Одна — хорошая. Другая — тоже хорошая. Но — большая.

— Давай с хорошей.

— Мне дали грант, — сказала Мира. — На диплом. Я пишу диплом о русском языке. О деревенской речи. Как говорят в деревне. Не в Москве — в деревне. Слова, которых нет в словаре. Поговорки. Песни.

— Это — хорошо, — сказала я.

— И мой профессор договорился. С Костромским университетом. Я буду там — на практике. С февраля до июня. Целый семестр. Полевая практика. Знаете, что такое полевая?

— Знаю, — сказала я. — Я сорок лет — в поле.

— Это значит — надо жить там, где говорят. Записывать. Каждый день. — Мира надела очки. — Я написала в заявке — деревня Большие Кочки. Судиславский район. Костромская область.

Я села.

На полку.

Хорошо, что полку был рядом.

— К нам? — сказала я.

— Если вы позволите, — сказала Мира. — Мой профессор сказал — нужна принимающая семья. Я сказала — у меня есть семья. В России. Он засмеялся. Я показала ему видео. Где вы в шубе в пустыне. Он сказал — «это они?». Я сказала — «это они». Он подписал.

Я сидела на полке.

Мира смотрела на меня из телефона.

— Мирочка, — сказала я. — Да господи. Да живи. Хоть всю жизнь. У нас Светочкина комната пустая. И печка. И Зорька у Шишкиных — молоко будешь пить настоящее. Ты у нас такого не пила. Ты у нас вообще ничего не пила — у вас там всё из коробок.

Мира засмеялась.

Потом — перестала.

— Это первая новость, — сказала Мира. — А вторая.

— Ну.

— Дедушка сказал, что я не поеду одна.

Я кивнула. Правильно. Девушке. Одной. В чужую страну. На полгода. Я бы Светочку тоже не пустила. Я её и не пускала. Она сама уехала. В двадцать два. С одним чемоданом. И двенадцать лет мне врал, что всё хорошо.

— Правильно дедушка сказал, — сказала я. — А кто с тобой поедет? Тётя? Двоюродный брат?

Мира опять сняла очки.

— Дедушка, — сказала она.

\* \* \*

Я сидела на полке.

Долго.

В бане было тихо. Только печка потрескивала. И где-то за стеной, в хлеву, вздохнул Борька. Борька у нас — поросёнок. Сын того Борьки. Тоже Борька. У нас все поросята — Борьки. Чтобы не путаться.

— Абу Хамад, — сказала я. — К нам. В Кочки.

— Да.

— На полгода.

— С конца декабря. Он хочет — на Новый год. Ваш Новый год. Он говорит — Галина Петровна праздновала его Новый год, теперь он хочет праздновать её Новый год. Это — справедливо. Он так сказал. Справедливо.

— Мирочка. Ему семьдесят три.

— Семьдесят три.

— У нас — минус тридцать бывает.

— Я ему говорила.

— А он?

— Он сказал — у него есть валенки.

Я закрыла глаза.

Валенки. Колины. Которые Коля ему подарил. На причале. Год назад. Когда мы улетали. Абу Хамад их тогда прижал к груди, как ребёнка. Как жемчуг. И теперь — в каждой пятнице, в каждом видео — он в них. На причале. В Дубае. В плюс двадцать восемь. В валенках.

Коля говорит — сопреют.

Абу Хамад не снимает.

— Мира, — сказала я. — У нас туалет — на улице.

— Я знаю.

— Ты — знаешь. А дедушка?

— Я ему показала фотографию. Он сказал — у его отца тоже был на улице. На острове. Только тёплый.

— У нас — не тёплый.

— Я ему сказала.

— А он?

— Он сказал — «иншалла».

Я открыла глаза.

Иншалла — это у них «если Бог даст». Я знаю. Мне Мира в Дубае объясняла. Они так говорят на всё. Придёт автобус — иншалла. Будет дождь — иншалла. Не замёрзнет дедушка в Костромской области в январе — иншалла.

— Галина Петровна, — сказала Мира тихо. — Если нельзя — скажите. Я пойму. Дедушка — тоже поймёт. Он не обидится. Он только... — она замаялась, — он только год ждёт пятницы. Каждую неделю. Чтобы посмотреть на Николая Ивановича. Он говорит — Николай Иванович — единственный человек, с которым можно молчать. Ему с людьми — трудно. После бабушки. А с Николаем Ивановичем — нет.

Я посмотрела в окошко бани.

Маленькое. В морозных узорах. За ним — темно. Огород. Сугробы. Дом. В окне — свет. Коля поставил чайник. Ходит. Я вижу тень.

Коля — тоже ждёт пятницы.

Я — знаю.

— Мирочка, — сказала я. — Скажи дедушке. Пусть едет. Пусть везёт свою деревяшку. Отцовскую. Рыбу будем ловить. У нас на Кочке окунь — во. И щука. И ёрш. И баню натопим. И шубу я ему свою дам — у меня их две, мутоновая с девяното седьмого и новая, которую мне Светочка подарила и которую я боюсь носить, она белая. Мутоновую дам.

Мира заплакала.

Тихо. Без звука. Как у них плачут — я видела. Глаза — мокрые, лицо — неподвижное. Как будто это не она плачет, а глаза сами.

— Спасибо, — сказала она. По-русски. — Спасибо вам. Бесконечно.

— Не бесконечно, — сказала я. — Но — долго. До июня.

\* \* \*

Вот и всё.

Вот и весь разговор.

В бане. В пять утра. Шёпотом — потому что я шептала, я не знаю, почему. В бане всегда хочется шептать. Как в церкви.

А за стеной бани — у забора — стоял Митрич.

Это я потом узнала.

Он шёл — к себе. От Серёги. Серёга у нас на краю деревни живёт, у леса. Митрич у него ночевал — они вдвоём «Урал» чинили. Мой Колин «Урал», который Коля продал Серёге, когда мне кольцо покупал. Сорок один год назад. Нет — тогда сорок, сейчас сорок один. «Урал» до сих пор ездит. Не всегда. Митрич с Серёгой его каждую зиму чинят. Как ритуал.

Шёл Митрич мимо нашей бани.

А в бане — свет. И голоса. Мой — и женский. Нерусский.

Митрич остановился.

Митрич — не подслушивал. Это он так говорит. Митрич — «грелся». У нашей бани — стена тёплая. Коля с вечера протопил.

Грелся Митрич минут десять.

И услышал он — я потом восстанавливала, по кусочкам, как следователь — услышал он вот что:

«Дубай».

«Дедушка».

«Грант».

«Полгода».

«Справедливо».

«Иншалла».

И — «шуба».

Больше — ничего. Я ж шептала.

\* \* \*

В шесть утра Митрич был у Любы.

У Любы магазин. «Продакты». Через «а». Это Толя, Любин покойный муж, вывеску рисовал, двадцать лет назад, — рисовал он хорошо, а писал плохо. Исправлять никто не стал. Люба говорит — это у неё вместо фамилии.

Люба открывает в семь. Но Митрич знает — Люба встаёт в пять. И в шесть уже сидит за прилавком. С чаем. С котом Барсиком. Барсик у неё живёт в магазине, на кассе. Вместо кассового аппарата — тот всё равно сломан с две тысячи девятнадцатого.

Митрич постучал в окно.

Люба открыла.

Митрич вошёл. С мороза. Красный. Взял у Любы чаю. Сел на ящик с макаронами. Помолчал.

И сказал:

— Люб. Петровна шейха выписала.

\* \* \*

Я потом Любу спрашивала — как это было. Слово в слово. Люба у нас — главная по связи. Она всё помнит слово в слово. Она бы в разведке работала — если бы в разведке был магазин.

Люба говорит, Митрич сказал так:

— Люб. Петровна шейха выписала. Из Дубая. Тот, который с ними рыбу ловил. Нефтяной. Едет — на полгода. С внучкой. С грантом. Грант — это деньги такие, на развитие. Вкладывать будет. Петровна ему шубу пообещала.

Люба — не поверила.

Люба сорок лет знает Митрича. Люба верит Митричу ровно настолько, насколько Митрич трезвый. А в шесть утра после ночи с Серёгой и «Уралом» Митрич был — ну, процентов на шестьдесят.

Люба сказала — «Митрич, иди спать».

Митрич сказал — «вот те крест». И перекрестился. На банку с огурцами. Икон у Любы в магазине нет, а банка — на полке, под потолком, большая, трёхлитровая. Митрич на неё и перекрестился.

Люба — задумалась.

Потому что Митрич крестится редко. Последний раз — в две тысячи двадцатом. Когда клялся, что не он увёл у Шишкиных бензопилу. Оказалось — не он. Оказалось — бобры. Ну, не бобры, бобры пилу не берут. Но — не он.

— Ну, — сказала Люба. По-Колиному. — Ладно.

И Митрич ушёл спать.

А Люба — осталась.

С чаем. С Барсиком. И с новостью.

Новостью, которую она не могла никому рассказать, потому что до семи утра в магазин никто не ходит.

Люба продержалась — до семи пятнадцати.

\* \* \*

В семь пятнадцать за хлебом пришла Шишкина.

Валентина. Жена Шишкина. Шишкин у нас фермер, у него коровы, Зорька — его, у него земля, у него теперь Колин трактор на неё работает — бесплатно, Коля так решил.

Люба отпустила Шишкиной хлеб. Буханку. Чёрного. И батон.

И — между буханкой и батоном — сказала:

— Валь. Ты слышала? К Петровне шейх едет.

Шишкина — не слышала.

Шишкина — услышала.

В восемь Шишкина доила Зорьку и рассказывала мужу. Шишкин сказал — «иди ты». Шишкина сказала — «Люба сказала». Шишкин сказал — «а-а». Потому что если Люба — значит, правда.

В девять Шишкин поехал в Судиславль. За комбикормом. На своей «Ниве».

В Судиславле на складе комбикорма работает Зинка. Зинка — кума главного бухгалтера районной администрации.

В одиннадцать главный бухгалтер районной администрации зашёл в кабинет к главе района.

Глава у нас — Сорокин. Пётр Ильич. Хороший мужик. Молодой — пятьдесят два. Энергичный. Шесть лет уже глава. Шесть лет пытается найти в Судиславский район инвестора. Инвесторы не находятся. Инвесторы, говорят, вообще в Костромскую область не очень. У нас нет моря. Нефти нет. Газ — есть, но не у всех. У нас в Кочках — нет. У нас — дрова.

Главный бухгалтер сказал:

— Пётр Ильич. Вы садьте.

\* \* \*

В двенадцать мне позвонили из района.

Я как раз щи ставила.

Звонок — на мобильный. Мобильный у меня в избе не ловит. Ловит — на крыльце магазина, на горке у церкви и в бане. А в избе — если положить телефон на подоконник, в левый угол, и прислонить к банке с вареньем — ловит одна палочка. Иногда.

Телефон зазвонил на подоконнике. У варенья.

Я сняла.

— Галина Петровна? — сказал мужской голос. Бодрый. Как у ведущего. — Здравствуйте! Сорокин! Глава района! Помните меня?

Я помнила.

Я его мать лечила. От давления. Двадцать лет. Пока она в Кострому не переехала, к сестре.

— Помню, Пётр Ильич, — сказала я. — Как мама?

— Мама — хорошо! — сказал Сорокин. — Галина Петровна, я к вам — по делу. По важному. Государственному. Можно сказать.

— Ну.

— Галина Петровна. — Он понизил голос. Как будто нас кто-то мог подслушать. На подоконнике. У варенья. — Это правда?

— Что — правда?

— Про шейха.

Я стояла у окна.

С поварёшкой в руке.

За окном — снег. Сугробы. Колин трактор — синий, «Беларус», новый — у сарая. Коля под ним — опять. Он под ним лежит каждый день. Ничего не чинит — трактору год, там чинить нечего. Просто — лежит. Смотрит. Как на ребёнка в люльке.

— Пётр Ильич, — сказала я. — Про какого шейха?

— Галина Петровна! — сказал Сорокин. — Ну что вы. Весь район знает. Нефтяной шейх из Эмиратов. Ваш друг. Едет к вам. С инвестиционным грантом. На полгода. Будет вкладывать.

Я молчала.

Я — сорок один год фельдшер. Я принимала роды в «уазике» на трассе в метель. Я вправляла Митричу вывих плеча в три часа ночи под самогон и «Ой, мороз, мороз». Я летала в Дубай и поднималась на самое высокое здание мира, где лифт едет быстрее, чем Коля ругается.

Но такого — не слышала.

— Пётр Ильич, — сказала я. — Кто вам это сказал?

— Источники, — сказал Сорокин. Солидно.

— Митрич, — сказала я.

Сорокин помолчал.

— Через Зинку, — признался он.

\* \* \*

Я ему всё объяснила.

Честно. Подробно. Как фельдшер объясняет больному, что у него не рак, а изжога.

Что Абу Хамад — не шейх.

Что он — рыбак. Простой. С причала. Сын ловца жемчуга. Вдовец. Семьдесят три года. Что нефти у него нет — у него лодка. Ну, не лодка — у него уже даже лодки нет, он на причале ловит. С берега. На деревяшку. Леской.

Что едет он — не вкладывать. Едет — внуку сторожить. Внука будет диплом писать. Про то, как Митрич говорит. Ну, не только про Митрича — про всех. Но Митрич, я думаю, попадёт в главу отдельную.

Что грант — это не на район. Это — на диплом. Студенческий. Маленький.

Сорокин слушал.

Молчал.

Потом сказал:

— Галина Петровна.

— Ну.

— Я всё понял.

— Вот и хорошо.

— Он — скромный, — сказал Сорокин.

— Что?

— Настоящие миллиардеры — они все скромные. Это известно. Я читал. Ходят в старом. Ездят на старом. Говорят — «я простой рыбак». Это у них — стиль такой. Восточная мудрость.

— Пётр Ильич...

— Галина Петровна, — сказал Сорокин. Твёрдо. — Я понимаю. Вы его оберегаете. Это правильно. Это — гостеприимство. Я уважаю. Я — никому. Ни слова. Но вы мне только скажите — когда прилетает?

Я посмотрела на поварёшку.

Подумала — может, его по телефону поварёшкой можно?

Нельзя. Не долетит.

— Двадцать девятого, — сказала я.

— Двадцать девятого! — сказал Сорокин. Как будто я ему сказала — Гагарин полетит. — Галина Петровна. Спасибо. Вы — патриот. Вы — не представляете, что вы делаете для района.

И положил трубку.

Я стояла у окна.

Щи кипели. Через край.

\* \* \*

К вечеру знала вся деревня.

К ночи — весь район.

К утру субботы мне позвонили:

— сестра Колина из Шарьи — спросить, правда ли, что у нас будет жить арабский принц;

— Валентина Сергеевна, сватья, из Мурманска — она узнала от Светочки, а Светочка — от Лёши, а Лёша — от Коли, а Коля сказал Лёше по телефону два слова: «Абу Хамад едет», — и Валентина Сергеевна, как учительница литературы на пенсии, решила, что раз «едет», то, значит, надо готовиться, и спросила, какие у них там обычаи насчёт подарков для хозяйки;

— отец Сергей — спросить, не надо ли освятить баню, раз в ней теперь международные переговоры;

— и — Светочка.

Светочка позвонила — в субботу. Вечером. Мне на горку — я специально пошла на горку, к скамеечке, которую Коля поставил. Села. В шубе. В платке. С телефоном.

Светочка была — в Дубае. В отеле. В кабинете. Директорском. За ней — окно. За окном — море. Синее. Пальма.

На Светочке — платье. Свободное. Живот — видно. Шестой месяц.

Я на живот смотрю — и у меня внутри всё теплеет. Как от печи. Как от рюмки. Мальчик. Николай. В марте.

— Мам, — сказала Светочка. — Это правда?

— Что?

— Что ты выписала шейха.

— Света!

— Мне Люба написала. В мессенджере. С крыльца. Голосовым. Восемь минут. — Светочка помолчала. — Мам. Я восемь минут слушала. Там была шуба. Нефть. Грант. Поросёнок, которого надо спрятать. И глава района, который хочет пригласить телевидение.

— Какой поросёнок? — спросила я.

— Борька, мам.

Я задумалась.

Про Борьку я не подумала.

А ведь — правда.

Абу Хамад — мусульманин. Им свинину нельзя. Мне Мира объясняла. Нельзя есть. И вообще — они свинью не держат. Это я в Дубае видела — там ни одного поросёнка. Я там год назад весь город обошла — ни одного. Я ещё думала — где же у них сало? А у них сала нет. У них — финики.

А у нас — за стеной бани. В хлеву. Борька.

Сын Борьки.

Тоже — Борька.

Килограммов — девяносто. Уже.

— Света, — сказала я. — А это — обидно? Для него?

— Мам, — сказала Светочка. — Не знаю. Спроси Миру.

— Спрошу.

— И, мам.

— Что?

— Мы с Лёшей приедем. Двадцать седьмого. На Новый год. И я — останусь.

Я замерла. На скамеечке. В шубе.

— Как — останешься?

— До родов, мам. Я — до родов. У тебя. В Кочках. Я так решила. — Светочка посмотрела на меня. Из Дубая. Из окна с морем. — Я хочу, чтобы ты. Ты — роды принимала. Двести... сколько?

— Триста сорок два, — сказала я. — За сорок лет. Не считая телят.

— Вот. Триста сорок третий — мой. — Светочка улыбнулась. — Я в Дубае рожать не хочу. Там всё — по-английски. А я хочу — чтобы ты сказала «тужься, девка». Как ты всем говоришь. Мне Люба рассказывала.

Я сидела на скамеечке.

Смотрела на телефон.

На Светочку. На живот. На море за ней.

— Светочка, — сказала я. — Так ФАП же закрыт. Пять лет. Шесть уже. Рожать — в район везти. В Судиславль. Тридцать километров. А в метель...

— Мам. Ты в «уазике» в метель принимала.

— То — я молодая была.

— Ты и сейчас молодая.

— Мне шестьдесят пять, Света.

— Ну, — сказала Светочка.

По-Колиному.

Она это от отца взяла. Она всё — от отца. Глаза. Молчание. «Ну». И что двенадцать лет можно врать, что всё хорошо, — тоже от отца. Коля моему отцу один раз соврал, в восемьдесят шестом. Про дом. Потом построил.

— Ладно, — сказала я. — Приезжай. Там посмотрим.

— Мам.

— Ну?

— А шейх — правда?

Я вздохнула.

— Абу Хамад, Света. Абу Хамад едет. С Мирой. Мира будет диплом писать. Про нас. А он — её сторожить.

Светочка — засмеялась.

Громко. Из Дубая. До Кочек долетело.

— Мам. Абу Хамад. В Кочках. В январе.

— В феврале, — сказала я. — И в марте. И в апреле. До июня.

Светочка перестала смеяться.

— Мам, — сказала она тихо. — Ты понимаешь, что ты делаешь?

— Что?

— Ты везёшь человека, который не видел снега. В Костромскую область. На полгода. Я посмотрела вниз. С горки.

На деревню. Шестьдесят дворов. Сорок восемь жилых. Трубы дымят. Снег. Сугробы. Огни. Магазин Любин — с гирляндой, одна лампочка не горит, сорок лет. Колин трактор у сарая. И Коля — опять под ним. В темноте. С фонариком.

— Понимаю, — сказала я.

Помолчала.

— Покажу ему, — сказала я. — Как мы живём.

— Мам. Он же испугается.

— Не испугается, — сказала я. — Он мой. Он — «мама». Он в Дубае так меня и звал — «шейха». А шейха не боится. Шейха — встречает.

\* \* \*

Вечером я пошла к Коле.

Коля был в сарае. У люльки.

Люлька — для внука. Коля строгаёт её с сентября. С того дня, как Светочка сказала. Деревянная. Резная. С колосками по бортику. Как на моём кольце.

Колоски уже готовы. Коля теперь строгаёт — что-то ещё. Я не знаю что. Он не показывает. Накрыв тряпкой.

Я встала в дверях.

— Коль.

— М.

— Абу Хамад едет. На полгода.

— Знаю.

— Откуда?

— Мира сказала. В бане. Сначала мне. — Пауза. — Потом тебя позвал.

Я посмотрела на него.

На усы. Седые. Моржовые. На руки — в стружке.

— И ты — молчал? Весь день?

Коля пожал плечами.

— Ты ж знала.

— Я — узнала от Сорокина, Коля. От главы района. Через Зинку.

Коля поднял голову.

Посмотрел на меня.

— Через Зинку, — сказал Коля.

— Через Митрича. Через Любу. Через Шишкину. Через Зинку. Через бухгалтера.

Коля помолчал.

Потом — положил нож. Вытер руки о штаны.

И сказал — неожиданно длинно. Для Коли.

— Галь. Я ему валенки отдал. Год назад. — Пауза. — Я думал — всё. Больше не увижу. Он — там. Я — тут. — Пауза. — А он — едет.

Я смотрела на мужа.

На его лицо. В свете лампочки — голой, на проводе, в сарае.

Сорок один год.

Я знаю это лицо.

Это лицо у него было — в восемьдесят шестом. В поле. Когда я узелок ему оставила с пирожками. И ушла. А он месяц потом мимо ФАПа ездил. На тракторе. Туда-обратно.

Это лицо — когда Коля счастлив и не знает, куда это деть.

— Коль, — сказала я.  
— М.  
— Борьку — надо спрятать.  
Коля посмотрел на меня.  
Долго.  
— Зачем? — сказал Коля.  
— Ему — нельзя. Абу Хамаду. Свинину. Неприлично. Поросёнок за стенкой бани. А он в баню пойдёт. А там — Борька. Хрюкает.  
Коля подумал.  
— Борька — хрюкает, — согласился Коля.  
— Вот.  
— Куда?  
— К Шишкиным.  
Коля подумал ещё.  
— Шишкины не возьмут.  
— Возьмут, — сказала я. — Я Шишкиной Зорьку три раза с того света вытаскивала. Возьмут.  
Коля взял нож.  
Опять склонился над люлькой.  
— Ну, — сказал он.  
Это значило — «ты главная».  
Это значило — «я тебя люблю».  
Это значило — «Борьку жалко, но — ладно».  
Это — у Коли — одно слово.  
Я сорок один год его перевожу.  
Мира, говорят, пишет диплом про деревенскую речь.  
Вот пусть приедет и попробует перевести Колю.  
Я посмотрю.

## **Глава 2.**

### **В которой мы готовимся**

Готовиться я начала в понедельник.

С тетрадки.

У меня тетрадка есть. Общая. В клетку. Девяносто шесть листов. Я в неё с восемьдесят шестого года записываю всё важное. Сначала — роды. Кто, когда, сколько весил. Потом — прививки. Потом — давление у бабки Нюры. Потом, когда ФАП закрыли, — рецепты. Потом — Дубай. Год назад. Как сказать по-английски «где туалет». Как зовут Раджеша. Сколько стоит финик.

Теперь — новая страница.

Я написала сверху. Крупно. С нажимом.

«ШЕЙХ».

Подумала.

Зачеркнула.

Написала — «АБУ ХАМАД».

Ниже:

«1. Что ему нельзя».

«2. Где спать».

«3. Где молиться».

«4. Что есть».

«5. Борька».

«6. Сорокин».

Посмотрела на шестой пункт. Подумала. Подчеркнула два раза.

\* \* \*

По первому пункту я позвонила Мире.

Из бани. Вечером. Коля как раз сидел на полке, чинил ушанку. Я села рядом. Он подвинулся.

Мира ответила сразу. Будто ждала.

— Мирочка, — сказала я. — Мне нужен список.

— Какой список, Галина Петровна?

— Что дедушке — нельзя. Всё. По пунктам. Я запишу.

Мира засмеялась.

Потом — стала серьёзной. Она всегда сначала смеётся, а потом серьёзная. Это у неё от дедушки. Абу Хамад тоже сначала смеётся. А потом смотрит так, что хочется поправить платок.

— Свинину — нельзя, — сказала Мира.

Я записала. «1. Свинина».

— Сало?

— Сало — это свинина, Галина Петровна.

Я вздохнула. Записала. «Сало — тоже».

— Колбасу?

— Если в ней свинина — нельзя.

— А докторскую?

— А в докторской есть свинина?

Я задумалась.

Я сорок лет режу докторскую в оливье. Я не знаю, что в ней есть. Я думаю, в ней никто не знает, что есть. Даже на заводе.

— Не знаю, — честно сказала я.

— Тогда — нельзя, — сказала Мира.

Записала. «Докторская — под вопросом».

— Алкоголь — нельзя, — сказала Мира.

Я посмотрела на Колю. Коля — на меня.

— Совсем? — спросила я.

— Совсем.

— А на Новый год? Шампанского? Глоточек?

— Совсем, Галина Петровна.

— А настойку? Клюквенную? Она же — лекарство. Я её от простуды даю.

Мира подумала.

— Дедушка скажет — нет. Вежливо. Но — нет.

Я записала. «Алкоголь — нет. Даже клюквенную». И добавила — для себя: «Предупредить Митрича».

Это — главное. Митрич у нас наливает всем. Гостям. Приезжим. Участковому. Батюшке — на Пасху. Корове Шишкиных — один раз, когда она болела, по моему же совету, но не столько. Митрич не знает, что кто-то может не пить. Для Митрича человек, который не пьёт, — это человек, которому не налили.

— Мясо — можно, — сказала Мира. — Говядину. Баранину. Курицу. Но — халяль.

— Что — халяль?

— Это значит — разрешённое. Правильно забитое. С молитвой. Чтобы — по правилам.

Я записала. Большими буквами. «ХАЛЯЛЬ». Обвела.

— Мирочка, — сказала я. — А где у нас его взять? Халяль?

— В Костроме есть мечеть, — сказала Мира. — Я узнала. И магазин рядом. Татарский. Там — есть.

— Кострома — восемьдесят километров.

— Я знаю. Простите.

— Не прощай, — сказала я. — Съездим. Не в первый раз.

— А ещё — рыбу можно, — сказала Мира. — Любую. Рыба — всегда халяль. Дедушка говорит — море не спрашивает, кто ловит. Рыба — для всех.

Я посмотрела на Колю.

Коля перестал чинить ушанку.

— Рыба, — сказал Коля. — Любая.

— Любая, Николай Иванович, — сказала Мира. — Окунь. Щука. Всё.

Коля кивнул.

Медленно. Значительно. Как будто ему только что выдали разрешение на жизнь.

Я поняла — вопрос с питанием Абу Хамада Коля закрыл. Лично. На полгода вперёд.

\* \* \*

— А Борька? — спросила я.

— Кто?

— Поросянок. У нас. В хлеву. За баней. Девяносто килограммов. Мирочка, скажи честно. Дедушке — обидно будет? Если поросёнок — рядом?

Мира помолчала.

— Галина Петровна, — сказала она. — Дедушка не ест. Но он не запрещает другим. Это — ваш дом. Ваш поросёнок. Дедушка — гость. Гость не говорит хозяину, кого держать в хлеву.

Я облегчённо выдохнула.

— Только... — сказала Мира.

— Что?

— Только, может быть, не надо — в бане. Сало. На полке. Как в прошлом году на видео. Я покраснела.

Было такое видео. Летом. Лёша снял. Мы после бани сидели — Коля, Лёша и Митрич. На полке. С салом. На газетке. И Абу Хамад позвонил. В пятницу. И увидел. Сало. На газетке. Крупным планом.

Абу Хамад тогда ничего не сказал. Вежливо посмотрел. Вежливо — в сторону.

А Мира, говорят, полчаса ему потом объясняла, что это не жертвоприношение.

— Не будет сала в бане, — сказала я. — Слово фельдшера.

— Спасибо.

— А Борьку — всё равно к Шишкиным переведу, — сказала я. — На время. Мне так спокойнее.

Мира — засмеялась.

\* \* \*

Борьку мы переводили в среду.

Вчетвером. Я, Коля, Шишкин и Митрич.

Митрича позвали — за силу. Митрич в молодости грузчиком работал. В Судиславле. На хлебозаводе. Говорит — мешок муки одной левой. Я ему не верю. Но силы у него и правда — как у трактора. Только тормоза хуже.

Борька переводиться не хотел.

Борька стоял в хлеву. Девяносто килограммов. Розовый. С пятном на боку — в форме Африки. Мира, когда увидела Борьку по видео летом, сказала — «у него на боку Африка». Я раньше не замечала. А теперь — вижу.

Борька смотрел на нас.

Мы — на Борьку.

— Борь, — сказала я. — Борь. Это — ненадолго. До июня.

Борька не поверил.

Я его понимаю. Я бы тоже не поверила.

— Давай, — сказал Митрич. — Я — спереди. Колька — сзади. Шишкин — сбоку.

— А я? — спросила я.

— А ты, Петровна, — ведро.

Ведро — это морковка. Я должна была идти впереди. С ведром. И трясти. Чтобы Борька шёл на звук.

Я пошла.

Затрясла.

Борька посмотрел на ведро.

Посмотрел на меня.

И — пошёл.

Не за ведром.

На Митрича.

\* \* \*

Я не буду рассказывать подробности.

Скажу только, что через пять минут Митрич сидел в сугробе у забора. С морковкой во рту — не знаю, как она туда попала. Шишкин держался за плетень. Коля лежал на Борьке. Ну — не лежал. Сидел. Верхом.

Борька — бежал.

С Колей.

Через огород. Через двор. Мимо бани. Мимо сарая. Мимо трактора.

К Шишкиным.

Сам.

Добежал до шишкинского хлева. Остановился у двери. Обнюхал. Хрюкнул.

И — вошёл.

Коля слез.

Отряхнулся.

Пошёл обратно. Через огород. Мимо Митрича в сугробе.

— Ну, — сказал Коля.

Митрич вынул изо рта морковку.

— Колька, — сказал Митрич. — Ты на нём — как казак.

Коля не ответил.

Но я видела — усы шевельнулись.

\* \* \*

А вечером Борька вернулся.

Сам.

Пролез под забором у Шишкиных. Прошёл через наш огород. Встал у двери хлева. И — хрюкнул.

Я открыла.

Он вошёл. Лёг. На своё место. В солому. И посмотрел на меня.

Так, как Коля смотрит, когда я говорю «надень шарф».

Я закрыла дверь.

— Ладно, — сказала я Борьке. — До двадцать девятого живи. А там — посмотрим.

\* \* \*

По второму пункту — «где спать» — я думала три дня.

Изба у нас — пятистенок. Колин. Он его в восемьдесят шестом сам перестроил. Из развалюхи. Где лиса жила. Я уже рассказывала.

Комнат у нас — три. Наша — с Колей. Светочкина — маленькая, за печкой. И горница — большая, где стол, телевизор и красный угол.

Светочка с Лёшей приедут. Двадцать седьмого. Им — Светочкину. Светочке на шестом месяце — только на кровати. На своей. Где она в девять лет болела корью и где я ей читала «Капитанскую дочку».

Мире — горница. На диване. Он раскладывается. Не до конца — заедает. Коля обещал починить.

А Абу Хамаду?

Я обошла избу. Три раза.

Абу Хамаду места — нет.

— Коль, — сказала я.

— М.

— Абу Хамада — куда?

Коля подумал.

— К нам, — сказал Коля.

— К нам — это куда? У нас кровать — одна.

Коля посмотрел на меня.

— А мы — на печь, — сказал Коля.

Я посмотрела на печь.

Русская. Большая. Белёная. Коля её сам клал. С Митричем. В восемьдесят седьмом. На печи — лежанка. Тёплая. Широкая. Я там в первую зиму, когда Светочку носила, спала — у меня спина болела, а на печи — не болит.

Мы с Колей на печи не спали — вдвоём — сорок лет.

— Коль, — сказала я. — Мы там не поместимся. Ты — метр девяносто.

— Поместимся, — сказал Коля.

— Ты ноги куда денешь?

Коля подумал.

— Свешу, — сказал Коля.

И я поняла — всё. Решено. Абу Хамад — в нашей кровати. Мы — на печи. Коля — с ногами наружу.

На полгода.

\* \* \*

По третьему пункту — «где молиться» — пришёл Коля.

Сам.

Вечером. С компасом.

Компас — с трактора. В новом «Беларусе» есть компас. Маленький, круглый, на панели. Я не знаю, зачем трактору компас. Коля говорит — «чтоб не заблудиться». Я говорю — «Коля, ты на тракторе сорок девять лет ездешь, ты по этим полям с закрытыми глазами доедешь». Коля говорит — «а вдруг».

Коля открутил компас. С панели. Принёс в избу.

Положил на стол.

И — сел. Перед ним. С тетрадкой. С моей. В клетку.

— Коль, — сказала я. — Ты что?

— Кыбла, — сказал Коля.

Я — не поняла.

Коля объяснил. Длинно. Для Коли — очень длинно. Семь слов.

— Им молиться — на Мекку. Надо знать — где.

Оказывается, Коля в пятницу спросил у Миры. В бане. Сам. Как молится дедушка. Мира объяснила — пять раз в день. Лицом — к Мекке. Это называется — кыбла. Направление.

Коля — запомнил.

И теперь сидел над компасом.

С тетрадкой. С карандашом. С Светочкиным школьным атласом. Атлас — с девяносто девятого года. Там ещё на карте есть страны, которых уже нет. Но Мекка — есть. Мекка — никуда не делась.

Коля сидел два часа.

Мерил. Линейкой. По атласу. От Костромы до Мекки. Считал что-то. Шевелил губами. Писал цифры.

Я не мешала.

Я сорок один год не мешаю Коле, когда он считает. Последний раз я помешала в девяносто третьем — когда он считал, сколько стоит наш колхоз «Рассвет», если его продать. Коля сбился. Пересчитал. Получилось — ничего не стоит. Колхоз закрыли через месяц. Коля потом говорил — это я виновата, я ему сбила. Шутил. Наверное.

В десять вечера Коля встал.

Взял компас.

Пошёл — по избе.

Медленно. Глядя на стрелку. Как сапёр.

Прошёл горницу. Вышел в сени. Вернулся. Повернулся. Повернулся ещё.

Остановился.

Посмотрел — вперёд.

Вытянул руку.

— Там, — сказал Коля.

Я посмотрела, куда он показывает.

Юг. Чуть правее. Стена. За стеной — двор. За двором — огород.

За огородом — уборная.

Наша. Деревянная. С сердечком на двери. Коля вырезал. В восемьдесят восьмом.

Мы с Колей посмотрели — друг на друга.

— Коля, — сказала я.

— Знаю, — сказал Коля.

— Он будет молиться — на уборную.

— Не на уборную, — сказал Коля. — Сквозь.

— Коля!

Коля помолчал.

Посмотрел на компас. На стену. Опять на компас.

— Перенесу, — сказал Коля.

— Что?

— Уборную.

\* \* \*

Он её перенёс.

Я не шучу.

В четверг утром Коля, Митрич и Серёга — втроём — сняли нашу уборную с места. Целиком. Подцепили к трактору. И — переставили. На двенадцать метров левее. К малиннику.

Митрич ругался. Серёга смеялся. Коля молчал.

Шишкины смотрели через забор.

Бабка Нюра смотрела через забор.

Отец Сергей — шёл мимо, с горки, — остановился. Посмотрел. Перекрестился.

— Николай Иванович, — сказал отец Сергей. — А зачем?

Коля вытер руки.

— Мекка, — сказал Коля.

Отец Сергей — постоял.

Подумал.

Кивнул.

— Правильно, — сказал отец Сергей. — Уважение.

И пошёл дальше.

А на юг — чуть правее — от нашей горницы теперь видно только огород. Сугробы. Лес. И небо. Над лесом.

Коля приколотил на южную стену в горнице — дощечку. Маленькую. Со стрелкой. Вырезал сам. Ножом.

Стрелка показывает — туда.

Сквозь стену. Сквозь огород. Сквозь лес. Сквозь Москву, Ростов, Кавказ, Турцию и всё остальное.

На Мекку.

Я посмотрела на дощечку.

Потом — на красный угол. Там — иконы. Бабушкины. Николай Угодник. Богородица. Лампадка.

Иконы — на восток. Как положено.

Стрелка — на юг.

Чуть правее.

Я подумала — ну и хорошо. Пусть. Изба большая. Бога — на всех хватит.

\* \* \*

По четвёртому пункту — «что есть» — мы поехали в Кострому.

В субботу. С Колей. На Серёгиной «Ниве». Коля за рулём. Я — с тетрадкой.

Восемьдесят километров. По трассе — снег. По обочинам — снег. Небо — белое. Коля ехал шестьдесят. Говорит — на «Беларусе» привык.

В Костроме нашли — мечеть. Небольшую. Кирпичную. С полумесяцем наверху. Рядом — магазин. Маленький. Вывеска — «Халяль». Без ошибок. Я проверила.

Вошли.

За прилавком — женщина. Лет пятидесяти. Платок. Глаза — тёмные, весёлые. Татарка. Зовут — Гульнара. Я потом узнала.

— Здравствуйте, — сказала я. — Мне — халяль.

Гульнара улыбнулась.

— Здесь всё — халяль, — сказала она.

— Тогда — всё, — сказала я.

Гульнара перестала улыбаться.

Посмотрела на меня. На Колю. На нашу «Ниву» за окном — с прицепом. Прицеп я велела Серёге прицепить. Мало ли.

— Всё? — сказала Гульнара.

— На полгода, — объяснила я. — У меня гость. Из Эмиратов. Пожилой. Ему — нельзя ничего. А у нас — Кочки. Тридцать километров от Судиславля. Магазин один — Любин. Там халяля нет. Там есть — макароны, хлеб, водка и кот.

Гульнара смотрела на меня.

Долго.

Потом — засмеялась. Громко. По-нашему.

— Садитесь, — сказала она. — Чай будем пить. Рассказывайте.

\* \* \*

Я рассказала.

Всё. Про Дубай. Про Абу Хамада. Про его отца — ловца жемчуга. Про Миру. Про грант. Про Борьку. Про уборную. Про стрелку на стене.

Гульнара слушала. Наливала чай. Подкладывала чак-чак.

Когда я дошла до уборной — Гульнара положила чак-чак обратно.

— Перенесли? — спросила она.

— Перенесли.

— Трактором?

— Трактором.

Гульнара посмотрела на Колю.

Коля сидел. Пил чай. Молчал. Чак-чак — ел. Третий кусок. Коля сладкое не любит. А чак-чак — ел.

— Николай Иванович, — сказала Гульнара. — Вы — святой человек.

Коля поперхнулся.

— Ну, — сказал Коля.

\* \* \*

Уехали мы с прицепом.

Полным.

Баранина — двадцать килограммов. Говядина — тридцать. Курица — двенадцать штук. Конина — немножко, Гульнара сказала, им понравится. Колбаса — говяжья, халяль, три палки. Финики — Гульнара дала коробку от себя. Чак-чак — две коробки. Одна — Коле. Лично.

И — книжка. Тоненькая. «Основы ислама для начинающих». Гульнара подарила. Сказала — «Галина Петровна, вы почитайте. Не для того, чтобы — а для того, чтобы понимать».

Я взяла.

И телефон Гульнары. На всякий случай.

— Если что, — сказала Гульнара, — звоните. Я подскажу. Мы тут все — гостей любим.

Я ехала обратно и думала: вот ведь. Восемьдесят километров. Чужая женщина. А — как своя.

Как Раджеш в Дубае. Как Айгерим в аэропорту. Как Оксана из Житомира.

Как Абу Хамад — на причале.

Люди — они везде люди. Если с ними чай пить.

\* \* \*

А по шестому пункту — «Сорокин» — Сорокин приехал сам.

Во вторник. На следующей неделе. На чёрной «Волге». Ну — не на «Волге». На чём-то чёрном, большом, с номерами района. Я в машинах не разбираюсь. Коля разбирается. Коля сказал — «служебная».

Сорокин вышел. В пальто. В шапке. С папкой.

За ним — ещё двое. Молодой человек в куртке — с планшетом. И женщина. В шубе. С блокнотом.

— Галина Петровна! — сказал Сорокин. Раскинул руки. — Рад! Рад!

Я стояла на крыльце. В фартуке. С тестом на руках. Я пирожки ставила.

— Пётр Ильич, — сказала я. — Здравствуйте.

— Галина Петровна. Знакомьтесь. Это — Игорь, мой заместитель по инвестициям. — Молодой человек кивнул. — А это — Елена Викторовна, отдел культуры. Будет готовить программу.

— Какую программу?

— Встречи, — сказал Сорокин. — Почётного гостя.

Я вытерла руки о фартук.

— Заходите, — сказала я. — Только разуйтесь. У меня полы.

\* \* \*

Программа встречи почётного гостя была на шести листах.

Елена Викторовна читала вслух. Я слушала. Коля сидел у печки. Молчал. С компасом. Компас он так и не прикрутил обратно к трактору. Носит с собой. В кармане.

Программа была такая.

Пункт первый. Встреча на вокзале в Костроме. Оркестр.

Пункт второй. Кorteж. Три машины. С флажками. Российским и эмиратским.

Пункт третий. Встреча на въезде в Кочки. Хлеб-соль. Девушки в кокошниках. Растяжка. «Добро пожаловать, уважаемый шейх!».

Пункт четвёртый. Концерт в клубе. Хор ветеранов. Детский ансамбль «Колокольчик». Номер — «Калинка».

Пункт пятый. Экскурсия. Фермерское хозяйство Шишкина. Пилорама. Перспективные земли.

Пункт шестой. Пресс-подход. Костромское телевидение.

Пункт седьмой. Подписание соглашения о намерениях.

Елена Викторовна закончила.

Сорокин посмотрел на меня.

Игорь посмотрел на меня.

Елена Викторовна посмотрела на меня.

Коля посмотрел на компас.

— Пётр Ильич, — сказала я. — Можно — вопрос?

— Конечно, Галина Петровна!

— Какое соглашение?

— О намерениях, — сказал Сорокин. — Это — формальность. Он подпишет, что намерен рассмотреть возможность инвестиционного участия в развитии...

— Пётр Ильич, — сказала я. — Он — рыбак.

— Галина Петровна...

— Он подпишет, что намерен рассмотреть возможность поймать окуня. Вот всё, что он подпишет. И то — если Коля даст ему лунку.

— Дам, — сказал Коля. От печки.

Сорокин посмотрел на Колю. На меня. Вздыхнул.

— Галина Петровна, — сказал он. Тихо. По-человечески. Без бодрости. — Вы поймите. Район — умирает. Школу в Кочках закрыли. ФАП — закрыли. Автобус — два раза в неделю. Дорогу — десять лет не чистили, только трактором. Молодёжь — вся в Кострому. В Москву. В Дубай — как ваша. — Он помолчал. — Я шесть лет ищу хоть кого-нибудь. Хоть одного. Кто вложит рубль. Хоть рубль. И вот — шейх. Из Эмиратов. Едет. Сам. К нам. Галина Петровна. Ну хоть — посмотреть. Хоть — показать. Вдруг.

Я смотрела на Сорокина.

На его пальто. Старое, если присмотреться. Локти — протёрты. На папку — облупленную. На шапку — кроличью.

Я этого мужика лечила, когда ему было двенадцать. От ангины. Он плакал, когда я ему горло смазывала. Мама его держала.

— Пётр Ильич, — сказала я. — Оркестра — не надо.

Сорокин сник.

— Кorteжа — не надо. Растяжки — тем более. Он — не шейх. Он испугается. У него сердце. Ему семьдесят три.

Сорокин кивнул. Молча.

— А дорогу, — сказала я, — почистите.

Сорокин поднял голову.

— Дорогу?

— От трассы до Кочек. Восемь километров. Он — с поезда. Старый человек. Если по сугробам — растрясёт. А он нам ещё нужен. Живой.

Сорокин посмотрел на меня.

— Почищу, — сказал он.

— И фонари, — сказала я. — У клуба. Три штуки. Не горят — четыре года.

— Почищу. Починю.

— И — ещё.

— Что?

— Если он сам захочет — с телевидением поговорить, — сказала я, — пусть. Сам. Без программы. А не захочет — не трогайте.

Сорокин подумал.

Протянул руку.

Я пожала. Мукой. Он не заметил.

— Договорились, — сказал Сорокин.

\* \* \*

Дорогу почистили в пятницу.

Грейдер пришёл. Жёлтый. Огромный. С мигалкой. Первый раз за десять лет. Вся деревня вышла смотреть. Шишкин снимал на телефон. Митрич шёл за грейдером метров сто и что-то кричал водителю — я думаю, предлагал налить.

Фонари у клуба починили в субботу. Все три. Загорелись — жёлтым, тёплым.

Бабка Нюра постояла под фонарём. Подняла голову. Сказала:

— Ох, Галка. Шейх ещё не приехал — а уже свет дали. Что ж будет, когда приедет?

Я не знала.

Я тогда ещё ничего не знала.

\* \* \*

Светочка с Лёшей приехали двадцать седьмого.

Вечером. На Серёгиной «Ниве» — Серёга их встречал в Костроме. По чищенной дороге. Без сугробов.

Я стояла на крыльце. В платке. В шубе. Ждала. С пяти часов. Было семь.

Фары.

«Нива» остановилась у ворот.

Дверь открылась.

Лёша вылез первым. Высокий. В пуховике. С бородой — короткой, тёмной, с сединой. Обошёл машину. Открыл заднюю дверь. Подал руку.

Светочка вылезла.

Медленно. Осторожно. Держась за Лёшу. В пуховике — нараспашку, не сходится уже. В шапке. Живот — вперёд.

Встала. На снег. На наш снег. Кочкинский.

Подняла голову.

Посмотрела на дом. На крыльцо. На меня.

— Мам, — сказала Светочка.

Я сбежала с крыльца.

Не помню как. Без валенок — потом Лёша сказал. В тапках. По снегу.

Обняла.

Осторожно. Сбоку. Чтобы живот не задеть.

Живот — толкнулся.

Я — почувствовала. Через пуховик. Через шубу. Через всё.

Толкнулся. Маленький. Николай.

— Он тебя узнал, — сказала Светочка. В плечо мне. — Мам. Он тебя узнал.

Я ничего не сказала.

Я не могла.

\* \* \*

Лёша подошёл.

Обнял нас — обеих. Сверху. Как медведь. Он у нас — бывший подводник. Двенадцать лет на лодке. Он обнимает так, будто сейчас будет погружение.

— Здравствуй, мама, — сказал Лёша.

— Здравствуй, Лёшенька.

— А батя где?

Я обернулась.

Коля стоял — у сарая. У трактора. В тулупе. Смотрел.

Не подходил.

Коля никогда не подходит первым. Он ждёт. Пока все наобнимаются. Пока все наплачутся. Пока все скажут всё, что хотели. А потом подходит — и говорит одно слово.

Лёша отпустил нас.

Пошёл к Коле.

Через двор. По снегу.

Остановился перед ним.

Они постояли.

Два мужика. Один — метр девяносто, с усами. Другой — метр девяносто два, с бородой. В тулупе и в пуховике. У синего трактора. Под фонарём.

— Батя, — сказал Лёша.

— Ну, — сказал Коля.

И — протянул руку.

Лёша — пожал.

Потом — Коля дёрнул его за руку. К себе. И обнял. Одной рукой. Коротко. Хлопнул по спине. Два раза.

Отпустил.

— Баню, — сказал Коля. — Протопил.

— Ну, — сказал Лёша.

И они пошли — в баню.

Вдвоём. Не оглядываясь.

А мы со Светочкой стояли посреди двора. В снегу. Я — в тапках.

— Мам, — сказала Светочка. — Они что, даже чемоданы не взяли?

— Не взяли.

— А ужин?

— После бани.

Светочка посмотрела на баню. На дым из трубы. На свет в окошке.

Засмеялась.

— Мам. Это — мой муж. Мой. Я его три месяца назад замуж взяла. А он — с папой в баню. Сразу.

— Это значит — свой, — сказала я.

Светочка перестала смеяться.

Посмотрела на меня.

— Да, — сказала она. — Свой.

\* \* \*

А ночью я не спала.

Лежала. На кровати. Последнюю ночь — на кровати. Послезавтра — на печь. С Колей. С его ногами наружу.

Коля спал. Рядом. Тихо. Он всегда спит тихо. Как трактор на холостом ходу.  
За стенкой — Светочка с Лёшей. Шептались. Потом — затихли.  
За другой стенкой, в хлеву, — Борька. Вдохнул. Тяжело. Как человек, которого скоро переведут к Шишкиным.  
Я лежала и думала.  
Послезавтра — Абу Хамад.  
В Кочках.  
В валенках.  
Человек, который не видел снега. Который прыгал в море за жемчугом, когда ему было двенадцать. Который сорок лет ловил рыбу с причала. Который назвал меня «шейхой» — в шутку, а получилось — всерьёз. Который отдал мне последнюю отцовскую жемчужину.  
Она у меня — здесь. В лифчике. В кармашке. Там у меня самое надёжное место. Туда даже фашист не полезет. Так ещё бабушка моя говорила. В войну.  
Я потрогала. Через рубашку.  
Жемчужина — на месте. Маленькая. Тёплая.  
Я подумала — а вдруг ему у нас не понравится?  
Вдруг — холодно. Вдруг — темно. Вдруг — туалет на улице, хоть и перенесённый. Вдруг — Митрич нальёт. Вдруг — Сорокин с телевидением. Вдруг — Борька вернётся.  
Вдруг он посмотрит на наши Кочки — шестьдесят дворов, сорок восемь жилых, трубы, сугробы, Любин магазин с одной лампочкой — и подумает: так вот как живёт шейха.  
Бедно.  
Я лежала и смотрела в потолок.  
Коля — повернулся. Во сне. Положил руку. На меня. Тяжёлую. Тёплую. В мазуте — даже во сне.  
— Галь, — сказал Коля. Сквозь сон.  
— М?  
— Не бойся.  
Я замерла.  
— Я не боюсь.  
— Боишься, — сказал Коля. — Я слышу.  
Он не открыл глаза.  
— Ему — понравится, — сказал Коля.  
— Почему ты знаешь?  
Коля помолчал.  
— Мне — понравилось, — сказал Коля. — У него.  
И — уснул.  
Опять. Тихо. Как трактор.  
А я лежала. Под его рукой. И смотрела в потолок.  
И думала — сорок один год. Сорок один год я этого человека знаю. И — каждый раз. Каждый раз.

### **Глава 3.** **Люба**

.

#### **В которой ко мне подселяют миллиардера**

Меня зовут Любовь Андреевна Соколова.

Мне шестьдесят четыре года. Я вдова. Девять лет. Муж мой, Толя, умер в восемнадцатом, в марте, от сердца. Прямо в магазине. За прилавком. Сел на ящик с макаронами — тот самый, на котором Митрич теперь греется, — сказал «Люб, что-то мне...» и всё.

Галка приехала через семь минут. На велосипеде. В марте. По грязи.  
Не успела.

Никто бы не успел. Галка потом мне сказала — «Люба, это было сразу». Я ей верю. Галка не врёт. Галка вообще такой человек — она когда врёт, у неё уши горят. А у меня — нет. Я вру спокойно. Профессионально. Сорок лет в торговле.

У меня магазин. «Продакты». Через «а».

Это Толя вывеску рисовал. В две тысячи седьмом. Он рисовал хорошо. Он в армии в клубе служил, художником. Плакаты писал. «Слава советскому воину». Без ошибок, между прочим. А тут — «Продакты».

Я говорю — Толь, ты что. Через «у».

Толя посмотрел на вывеску. Долго. Почесал затылок.

Сказал — «Люб, через «а» — красивее. Буква круглая».

И — оставил.

Я двадцать лет хотела исправить.

Девять лет — не хочу.

\* \* \*

Магазин у меня — это не магазин.

Это — штаб.

У меня на крыльце ловит интернет. Одна из трёх точек в Больших Кочках. Две другие — горка у церкви и Галкина баня. Но на горке холодно, а в бане — Галка с Колей. Так что все идут ко мне.

Идут — якобы за хлебом.

Берут — буханку.

Стоят — час.

Пенсионеры приходят смотреть новости. Молодые — их у нас шестеро — приходят сидеть в телефонах. Дачники летом приходят ругаться, что нет оливкового масла. Митрич приходит греться. Отец Сергей — за свечками, свечки я ему из Судиславля привожу, оптом. Участковый приходит — пить чай и спрашивать, кто гонит. Я говорю — никто. Он говорит — понятно. И уходит. Мы так двадцать лет разговариваем.

А я — сижу за прилавком.

С чаем. С котом.

И — слушаю.

Я всё слушаю. Я всё помню. Я всё — передаю.

Галка говорит — я главная по связи. Я говорю — я главная по правде. Я правду не придумываю. Я её — распространяю. Это разные вещи.

Митрич вот — придумывает.

Митрич — это фабрика.

А я — склад.

\* \* \*

Кота моего зовут Барсик.

Ему двенадцать лет. Он серый. Толстый. Наглый. Как налоговый инспектор.

Раньше он жил у Галки. Год назад, когда Галка с Колей улетали в Дубай, она мне его оставила. Сказала — «Люб, на две недели». Две недели прошло. Галка вернулась. Барсик — не вернулся.

Барсик решил, что магазин — его.

Он спит на кассе. На кассовом аппарате. Аппарат — сломан с девятнадцатого года. Я считаю на калькуляторе. А Барсик — греется. Аппарат, хоть и сломан, — в розетке. Тёплый.

Галка приходила — забирать. Барсик посмотрел на неё. С кассы. Как директор на уборщицу.

Галка ушла.

Сказала — «Люба, пусть. Будет у тебя вместо кассового аппарата». Я сказала — «Галка, а он и так вместо кассового аппарата. Ничего не считает. Только лежит и смотрит».

Вот так у меня и живёт.

Барсик и я.

Два вдовца. Ну — вдовец и вдова. Барсик тоже вдовец. У него была кошка Мурка, у Шишковых. В прошлом году ушла и не вернулась. Барсик две недели сидел на крыльце. Потом перестал.

Я его понимаю.

\* \* \*

Про шейха я узнала первая.

От Митрича. В шесть утра. Это вы уже знаете — Галка рассказывала.

Только Галка рассказывает — как будто я виновата. А я — не виновата. Я — склад. Мне привезли — я выдала. А что Митрич привёз гнилое — это к Митричу.

И потом — я же проверила.

Через час. Позвонила Галке.

Галка — не ответила. Галка была в бане. Потом — в избе. А в избе у неё не ловит, только у варенья. Так что я позвонила Коле.

Коля — ответил.

— Коль, — сказала я. — Это правда? Шейх едет?

— Ну, — сказал Коля.

И положил трубку.

Ну — а я что должна была подумать?

«Ну» — это «да». У Коли «ну» — это «да». Сорок лет. Вся деревня знает. Когда Коля сказал «ну» в загсе — это было «да».

Так что я — передала. С подтверждением.

Галка потом говорила — «Люба, он имел в виду — Абу Хамад едет». Я говорю — «Галка, я его спросила — шейх едет? Он сказал — ну». Галка говорит — «он его так и зовёт — шейх. В шутку». Я говорю — «а я откуда знаю, что в шутку? У Коли шутки от правды не отличаются. У него голос — один».

Галка — подумала.

И — согласилась.

Видите? Я — не виновата.

\* \* \*

А торговля — пошла.

Это я вам честно скажу. Как предприниматель.

С пятого декабря выручка у меня — выросла. В три раза.

Потому что все пошли — узнавать.

Шишковые пришли — трижды за день. Бабка Нюра — пришла. Бабка Нюра ко мне не ходит с пятнадцатого года, ей Галка всё носит. А тут — пришла. Сама. С клюкой. Купила — спички. Одну коробку. Стояла — сорок минут.

Из Судиславля приехали — двое. На машине. Тридцать километров. Купили — две бутылки лимонада. Стояли — час. Спрашивали, где будет жить шейх. Я сказала — у Петровны. Спросили, где Петровна живёт. Я сказала — вон, где синий трактор. Они поехали — смотреть. На трактор.

Коля потом говорил — подъехали, постояли, посмотрели. Сфотографировали трактор. Уехали.

Коля сказал — «ну». В смысле — «люди странные».

Из района — звонили. Из Костромы — звонили. Двоюродная сестра из Буя — звонила. Я с ней пятнадцать лет не разговаривала. С похорон тётки. Из-за серванта. А тут — позвонила. Первая. Спросила — «Люб, это правда, что у вас там нефть нашли?»

Я сказала — «правда».

Ну а что? Пятнадцать лет не разговаривали. Пусть хоть нефть будет.

\* \* \*

А двадцатого декабря Галка пришла ко мне с лицом.

С таким лицом, какое у неё бывает, когда она идёт ставить укол и знает, что будет больно, но — надо.

Пришла. В шубе. В платке. Сняла варежки.

Барсик посмотрел на неё с кассы. Отвернулся.

— Люб, — сказала Галка. — У меня к тебе — просьба.

— Ну.

— Большая.

— Ну.

— Ты только сразу не отказывайся.

Я налила ей чаю. Я всегда наливаю чаю, когда человек говорит «ты только сразу не отказывайся». Это значит — разговор длинный. И что я откажусь. Но не сразу.

— Говори, — сказала я.

Галка села. На ящик. С макаронами. Толин.

— Мне вчера звонил Геннадий Павлович.

Я подняла брови.

Геннадий Павлович — это я знаю. Это — их миллиардер. Дубайский. Ну — не дубайский. Он из Череповца. Но познакомились — в Дубае. Он там на Новый год двести человек своих возил. И Галка ему оливье делала. И Коля с ним на рыбалку ходил. А потом этот Геннадий Павлович Коле — трактор подарил. Новый. Синий. «Беларус».

Я этого трактора, между прочим, первая увидела. Его на тягаче везли — мимо магазина. Водитель тягача у меня спросил дорогу. А я ему — «а кому?». А он — «Морозову Николаю Ивановичу». А я — «а от кого?». А он — «от Бурова Геннадия Павловича». А я — «а это кто?». А он — «а я знаю?».

Я потом — посмотрела. В интернете. На крыльце.

Буров Геннадий Павлович. Шестьдесят один год. Череповец. Металл. Заводы. Пароходы.

Портрет — в костюме. Большой. Лысый. Тяжёлый. Глаза — как у сварщика: прищур. Будто смотрит на огонь.

Миллиардер.

Не миллионер.

Мил-ли-ар-дер.

Я поставила телефон на прилавок. Посмотрела на Барсика. Сказала — «Барсик. У нашего Коли друг — миллиардер». Барсик — зевнул.

Ему всё равно. Он кот.

А мне — нет.

\* \* \*

— И что Геннадий Павлович? — спросила я.

Галка вздохнула.

— Он хочет приехать.

— Куда?

— Сюда. В Кочки. Порыбачить. С Колей. На льду. — Галка покрутила кружку. — Он говорит — ему врачи велели отдыхать. Сердце. Давление. Нервы. Говорят — или в санаторий,

или в гроб. Он сказал — в санаторий не поеду, там скучно. Поеду к Николаю Ивановичу. На лёд.

— Ну и пусть едет, — сказала я. — Мне-то что?

Галка посмотрела на меня.

С тем самым лицом.

Укольным.

— Люб, — сказала Галка. — У меня — некуда.

\* \* \*

И она мне — объяснила.

У неё — Абу Хамад. С Мирой. С двадцать девятого. На полгода.

У неё — Светочка с Лёшей. С двадцать седьмого. Светочка — до родов.

Абу Хамад — в их с Колей кровати. Мира — в горнице, на диване. Светочка с Лёшей — в Светочкиной. Галка с Колей — на печи.

Галка сказала — «Коля будет ноги свешивать».

Я представила. Колю. Метр девяносто. На печи. С ногами. Свешенными. Над горницей. Над Мирой на диване.

Я засмеялась.

Галка — не засмеялась.

— Люб. Гостиницы у нас нет. В Судиславле — есть, но он туда не поедет, он хочет рыбачить. Каждый день. С утра. Ему надо — тут. В Кочках. Рядом.

— Пусть у Митрича живёт, — сказала я.

— У Митрича — самогон.

— Пусть у Шишковых.

— У Шишковых — Борька. Теперь. И пятеро внуков на каникулах.

— Пусть у батюшки.

— У батюшки — одна комната. И матушка. И шесть ящиков песка.

Я помолчала.

— Галка, — сказала я. — Ты мне что предлагаешь?

Галка посмотрела на меня.

— У тебя — дом, Люба, — сказала Галка. — Большой. Толин. Пятистенки. Две комнаты — пустые. Девять лет.

Я поставила кружку.

На прилавок.

Громко.

Барсик — проснулся. Посмотрел.

— Нет, — сказала я.

\* \* \*

Галка знала, что я скажу «нет».

Галка знает меня пятьдесят лет. С пятнадцати. С того дня, как я приехала в Кочки из Судиславля — к тётке, после школы. И пошла на танцы. В клуб. Под Гагарина. И там была — рыжая. Нахальная. С косой. Галка. Она пришла с тракторной бригадой. В смысле — пришла сама, а тракторная бригада смотрела.

Галка подошла ко мне. И сказала — «ты чего у стенки стоишь? Пошли. Покажу, кто тут нормальный».

Нормальных — не оказалось.

Но мы — с тех пор вместе.

Пятьдесят лет.

Она у меня — роды принимала. Танькины. В восемьдесят девятом. Дома. В бане. Потому что метель, и «уазик» застрял.

Она у меня — Толю провожала. Сидела со мной три ночи. Не спала. Держала за руку.

Она мне — ни разу ничего не сделала плохого.

Кроме Барсика.

И вот теперь — миллиардер.

— Нет, Галка, — сказала я. — Нет. Ни за что.

— Люба...

— Он — чужой мужик. В моём доме. В Толином. Девять лет там никого. Я там — одна. Я там привыкла. Я там хожу — в чём хочу. Я там пою — когда хочу. Я там сериалы смотрю — до двух ночи. Я там — плачу, когда хочу, Галка.

Галка смотрела на меня.

— А тут — он, — сказала я. — Миллиардер. Сто двадцать килограммов. С охраной. С вертолётном. С этими... с помощниками. Он будет ходить по Толиному дому — в ботинках. Он будет требовать — кофе. Он будет — звонить, звонить, звонить. Он будет — смотреть на мои занавески и думать — «бедность». Нет, Галка. Нет.

Я выдохнула.

Барсик смотрел на меня. С уважением.

Галка помолчала.

Допила чай.

Поставила кружку.

— Он заплатит, — сказала Галка.

\* \* \*

Я — засмеялась.

— Галка. Ты что. Ты меня — деньгами?

— Пять тысяч, — сказала Галка. — В день.

Я перестала смеяться.

— Сколько?

— Он сказал — сколько скажете, Галина Петровна. Я сказала — пять тысяч. В день. Он сказал — мало. Я сказала — для Кочек — нормально. Он сказал — ну, вам виднее.

Я посчитала.

Я — предприниматель. Я считаю быстро. Без калькулятора. Калькулятор у меня — для покупателей. Чтобы видели.

Пять тысяч. В день.

Месяц — сто пятьдесят тысяч.

У меня магазин за месяц — ну, в хороший месяц — двадцать. Чистыми. В декабре вот — шестьдесят. Из-за шейха.

Сто пятьдесят.

— Галка, — сказала я. — Это неприлично.

— Почему?

— Пять тысяч — за комнату? В Кочках? Где туалет на улице? Он что, дурак?

— Он — миллиардер.

— Это одно и то же, — сказала я.

Галка — засмеялась.

Я — нет.

Я думала.

Сто пятьдесят тысяч.

Крыша. Крышу у Толиного дома — надо перекрывать. Шифер — с восьмидесятого года. Течёт. Над той самой пустой комнатой. Я туда ведро ставлю. Каждую весну.

Таньке. Танька третьего родила, в Судиславле живёт, муж — на вахте, денег нет. Танька не просит. Танька гордая. В меня.

Холодильник. В магазине. Старый. Гудит, как Митрич после бани.  
Вывеска...

Нет. Вывеску — не трогать.

— Пять тысяч — неприлично, — сказала я. — Три.

Галка подняла брови.

— Три?

— Три тысячи. В день. Это — нормально. За комнату, за завтрак, за ужин. Обед — пусть у тебя ест, он к Коле едет, не ко мне. — Я подумала. — И дрова колет сам.

Галка смотрела на меня.

— Люба, — сказала она. — Он — миллиардер. Сто двадцать килограммов. С сердцем. Ему шестьдесят один год. Ты ему — дрова колоть?

— А что? — сказала я. — Ему врачи сказали — отдыхать. А лучший отдых — это дрова. Толя всегда говорил. Колешь — и ни о чём не думаешь. А сердцу — полезно. Ты же фельдшер. Скажи — полезно?

Галка подумала.

— Полезно, — признала она. — В меру.

— Вот, — сказала я. — В меру — пусть колет.

— Так ты — согласна?

Я посмотрела на Барсика.

Барсик посмотрел на меня.

Я сказала:

— Пусть платит.

\* \* \*

Галка ушла довольная.

А я осталась.

С чаем. С Барсиком.

И с мыслью — что я наделала?

\* \* \*

Вечером я пошла в дом.

В Толин. Ну — в мой. Девять лет — мой. Но я его всё равно зову — Толин.

Дом стоит на краю деревни. Ближе к речке. К Кочке. Толя его сам строил. В восемьдесят пятом. Когда мы поженились. Пятистенок. С резными наличниками. Наличники Толя тоже сам резал. Петухи. Солнышки. И — две буквы. Над крыльцом. «Л» и «Т». Люба и Толя.

Я открыла дверь.

Включила свет.

Прошла — в горницу. Где я живу. Где телевизор. Где диван. Где Толин портрет на стене — в рамке, в пиджаке, на доске почёта в восемьдесят восьмом.

Потом — в ту комнату.

Пустую.

Вторую половину пятистенка.

Я туда не захожу. Почти. Летом — проветрить. Весной — ведро поставить. Осенью — ведро убрать.

Там — Толины вещи.

Его кровать. Наша. Мы на ней тридцать три года спали. Я после Толи — не смогла. Переехала — в горницу. На диван. Девять лет — на диване.

Его шкаф. С его пиджаками. Три пиджака. Один — свадебный.

Его мольберт. Старый, деревянный. С незаконченной картиной. Речка. Кочка. Летом. С лодкой. Лодка не дорисована — только нос.

Его удочки. Пять штук. В углу.

Его тапки. У кровати.

Девять лет.

Я села. На кровать. На краешек.

Пыль. Тонкая. Летом протирала.

Посмотрела — на мольберт. На речку. На лодку без кормы.

— Толь, — сказала я. — Тут мужика пустить надо.

Толя — молчал.

С мольберта. С речки.

— Чужого, — сказала я. — Богатого. Глупого, наверное. Галкиного. Ну — Колиного.

На месяц.

Толя — молчал.

— Сто пятьдесят тысяч, Толь, — сказала я. — Крышу перекроем. Над тобой. А то ты тут мокнешь каждую весну.

Тишина.

— Ты — против? — спросила я.

Где-то за стеной — скрипнуло. Половица. Дом старый. Скрипит сам.

Я подождала.

Больше — не скрипнуло.

— Ну, — сказала я. — Значит — не против.

Встала.

Взяла тряпку.

И начала — протирать.

\* \* \*

Протирала я три дня.

Пиджаки — вынесла. В горницу. В свой шкаф. Повесила. Рядом с моими платьями. Они висят теперь вместе. Толины пиджаки и мои платья. Как раньше.

Мольберт — оставила. Не смогла. Накрыла простынёй.

Удочки — оставила. Он рыбак. Пусть видит.

Тапки — убрала. Под кровать. Глубоко.

Кровать — застелила. Новым. Купила в Судиславле — бельё. Хорошее. Белое. С вышивкой. Три тысячи. Галка сказала — «Люба, ты на один день от него деньги уже потратила». Я сказала — «это инвестиция».

Печку — протопила. Два раза. Чтобы стены прогрелись. Девять лет холодные.

Окна — помыла. В декабре. Изнутри. Снаружи — не дотянулась, там сугроб.

Занавески — повесила новые. Тоже из Судиславля. Белые. С ромашками.

Галка пришла — посмотрела.

Постояла в дверях.

— Люба, — сказала Галка. — Ты так для меня не убиралась. Когда я у тебя после Дубая ночевала.

— Ты — своя, — сказала я. — Тебе — можно и в пыли.

— А он?

— А он — за деньги, — сказала я. — За деньги — должно быть чисто. Это — торговля.

Галка посмотрела на меня.

Тем самым взглядом.

Фельдшерским.

— Ну-ну, — сказала Галка.

И ушла.

А я стояла посреди Толиной комнаты. С тряпкой. В новых занавесках. Пахло — печкой, мылом и почему-то — Толей. Его одеколоном. «Шипр». Хотя одеколону там не было девять лет.

Наверное — показалось.

\* \* \*

Двадцать восьмого он позвонил.

Сам.

Мне — на мобильный. На крыльцо магазина. Я как раз стояла — курила. Я курю одну в день. Вечером. Галка ругается. Я говорю — «Галка, одна — это не курение, это ритуал». Галка говорит — «ритуал у тебя будет на кладбище». Я говорю — «вот и хорошо, будет что вспомнить».

Номер — незнакомый. Длинный.

Я сняла.

— Любовь Андреевна? — сказал голос.

Бас.

Низкий. Густой. Как у дьякона. Только без пения.

— Ну, — сказала я. По-Колиному. От неожиданности.

— Буров, — сказал бас. — Геннадий Павлович. Мне Галина Петровна дала ваш номер. Я буду у вас жить. С второго числа. Если вы не против.

— Галина Петровна сказала — против, — сказала я.

Пауза.

— Не сказала, — сказал бас. Осторожно.

— Значит, не всё сказала, — сказала я. — Я — против. Но — согласна. Это разные вещи.

Пауза. Длинная.

Потом — в трубке — звук. Странный. Как будто трактор пытается завестись.

Это он — засмеялся.

— Любовь Андреевна, — сказал Геннадий Павлович. — Я понял. Я — постараюсь. Мешать не буду. Я — тихий.

— Сто двадцать килограммов не бывают тихими, — сказала я.

Опять — трактор.

— Галина Петровна вам и это сказала?

— Я в интернете посмотрела.

— А, — сказал он. — Там — сто пятнадцать. Старая фотография.

— Значит, теперь — сто двадцать пять, — сказала я.

Пауза.

— Сто двадцать три, — признался он.

\* \* \*

Мы поговорили — десять минут.

О деле.

Он спросил — что привезти. Я сказала — ничего, у меня магазин. Он спросил — есть ли у меня кофемашина. Я сказала — у меня есть турка. Он помолчал. Сказал — «понял».

Он спросил — сколько я хочу за комнату. Я сказала — Галина Петровна вам сказала. Он сказал — Галина Петровна сказала «пять тысяч», а потом позвонила и сказала «три, но дрова колете сами». Он сказал — он не понял про дрова.

Я объяснила.

Он помолчал.

Сказал:

— Любовь Андреевна. Я последний раз колол дрова в восемьдесят первом году. В Кадникове. У мамы.

— Вспомните, — сказала я.

— А если не вспомню?

— Галина Петровна вправит, — сказала я. — Она вправляет.

Опять — трактор. Громкий. Долгий.

Я держала телефон у уха.

Стояла на крыльце. В темноте. В мороз. Сигарета догорела. Я не заметила.

И я поймала себя на том — что улыбаюсь.

Мне это не понравилось.

\* \* \*

— Любовь Андреевна, — сказал Геннадий Павлович. Под конец. Уже другим голосом. Тише. — А можно вопрос?

— Ну.

— Почему вы — согласились? Галина Петровна сказала — вы девять лет никого в дом не пускали.

Я помолчала.

Посмотрела на вывеску. Над головой. «Продакты». Толя рисовал. Буква «а» — круглая. Красивая.

— Крыша течёт, — сказала я.

Пауза.

— Понял, — сказал он.

— Над комнатой, где вы будете жить, — сказала я. — Так что если весной закапает — это не я. Это — Толя.

— Толя?

— Муж мой. Покойный. Он там — ну, его вещи там. Удочки. Мольберт. Вы не трогайте.

Пауза.

— Не трону, — сказал Геннадий Павлович. Серьёзно. — Слово.

— Ну, — сказала я.

И положила трубку.

Сама. Первая. Без «до свидания».

Постояла ещё.

На крыльце. В темноте.

Барсик сидел за стеклом. На кассе. Смотрел на меня.

С таким лицом, какое у Галки бывает, когда она говорит «ну-ну».

— Не смотри, — сказала я Барсику.

Барсик — смотрел.

\* \* \*

А на следующий день приехал шейх.

Но это — Галка расскажет. Она лучше рассказывает. У неё — с выражением. А у меня — с подробностями.

Скажу только одно.

Когда этот шейх вылез из саней Митрича — маленький, сухонький, в Колиных валенках, в Галкиной шубе, с бородой седой и с палочкой, — и посмотрел на нашу деревню, на фонари, на людей, на сугробы, — и приложил руку к груди —

Я подумала:

Ну какой же это шейх.

Это же — дедушка.

Обычный. Как мой. Как Толин. Как все.

А вот второй — который приедет второго — тот, наверное, шейх.

С кофемашиной.

Я ещё не знала.

Я тогда ничего не знала.

#### **Глава 4.**

##### **В которой шейх видит снег**

Дорогу Сорокин почистил.

Это — правда. Грейдером. Жёлтым. С мигалкой. Восемь километров — от трассы до Кочек. Как стекло. Как в Дубае.

А двадцать восьмого ночью — пошёл снег.

И шёл — до утра.

И к утру двадцать девятого дорога от трассы до Кочек была — как десять лет до того. По пояс. По колено — в лучших местах. А в низинке у моста — по грудь. Митрич потом мерил. С собой.

Природа на программу Сорокина не подписывалась.

\* \* \*

Я позвонила Сорокину в семь утра. С горки.

— Пётр Ильич, — сказала я. — Замело.

— Знаю, — сказал Сорокин. Голос — убитый. — Галина Петровна. Грейдер — в Островском районе. Там тоже замело. Там — школьный автобус в кювете. Детей вытаскивают. Я не могу — снять.

— И не надо, — сказала я. — Детей — важнее.

— Но шейх...

— Пётр Ильич. Он — не шейх. Он — дед. А деда мы — довезём. У нас трактор есть.

Сорокин помолчал.

— Два, — сказал он. — У вас — два трактора. Колин и Митричев.

— Вот, — сказала я. — Два. Довезём.

\* \* \*

План был такой.

Поезд из Москвы приходит в Кострому в одиннадцать сорок. Коля с Лёшей едут встречать — на Серёгиной «Ниве». До Костромы дорога — трасса — чищенная. Трассу чистят всегда. Трасса — федеральная.

От Костромы до поворота на Кочки — «Нива» тоже проедет.

А от поворота — восемь километров — по пояс.

На повороте их ждёт Митрич. На тракторе. Старом. Митричевом. Красном. «Т-40». С саниями.

Сани — наши. Деревенские. Большие. Деревянные. На полозьях. В них в Кочках возят — сено, дрова, покойников и невест. В зависимости от случая.

На сани я велела постелить — сено. Сверху — тулуп. Сверху — ватное одеяло, Светочкино, детское, с зайцами. Сверху — ещё тулуп.

Колин трактор я оставила — дома. Колин «Беларус» — с кабиной. Новый. В кабину влезает один человек. Ну — полтора. А нас — пятеро. С чемоданами.

Коля сказал — «я довезу на «Беларусе», Галь, в кабине тепло».

Я сказала — «Коля. Ему — семьдесят три. Он — первый раз. Пусть видит. Не через стекло».

Коля подумал.

Сказал — «ну».

Он понял.

Год назад, когда мы с ним прилетели в Дубай, нас Светочка везла — в машине. В белой. С кондиционером. Через стекло. Я смотрела на пальмы — и не верила. Через стекло всё — как в телевизоре. Я поверила только потом. Когда вышла. И песок в туфли набился.

Пусть Абу Хамад — тоже.

Без стекла.

\* \* \*

Они уехали в шесть утра.

Коля. Лёша. Серёга — за рулём. Митрич — следом, на тракторе. До поворота — своим ходом. Восемь километров. По пояс. На «Т-40». Два часа.

Я осталась дома.

Со Светочкой.

И с пирогами.

Я пекла с четырёх утра. Пирожки — с капустой, с картошкой, с луком и яйцом. Рыбник — со щукой, Коля поймал в субботу. Шанежки. Кулебяку — с рисом и с халяльной говядиной от Гульнары. Пирог с брусникой — сладкий. Пирог с клюквой — кислый. Пирог с яблоками — потому что пирог с яблоками должен быть всегда, это Светочка в детстве так решила.

Светочка сидела за столом. С животом. Чистила яйца. Медленно. Она всё теперь делает медленно.

— Мам, — сказала Светочка. — Ты зачем столько?

— Как зачем? Гости.

— Мам. Их — двое. Дедушка и девушка. Дедушка ест — как птичка. Мира — тоже. Они в Дубае весь вечер ели — финик.

— То — в Дубае, — сказала я. — Там жарко. Там есть не хочется. А тут — мороз. Тут — организм требует.

— Мам. Тут пирогов — на роту.

Я посмотрела на стол.

На пироги. На все. На полотенца — которыми они накрыты. На печь — в которой ещё два.

— Придут же, — сказала я.

— Кто?

— Все.

Светочка подняла голову.

— Мам. Кто — все?

Я не ответила.

Я сорок один год в Кочках живу. Я знаю — кто все.

\* \* \*

Все начали приходить в три.

Сначала — Люба.

Пришла — с банкой. Огурцы. Свои. С укропом. Поставила на стол. Села. Сказала — «я на минутку». Сняла платок. Сняла шубу. Сняла валенки.

На минутку.

Потом — Шишкины.

Шишкин — с молоком. Три литра. От Зорьки. Шишкина — с творогом. Пятеро внуков — с санками. Санки оставили во дворе. Внуков — тоже. Внуки — сразу полезли на сарай. Где трактор стоял. Пустое место. Снег. Прыгать — удобно.

Потом — бабка Нюра.

Сама. С клюкой. Через сугробы. Девяносто два года. В тулупе. В валенках. В платке — сером, не в оренбургском, оренбургский — теперь мой. Она мне его отдала. Сказала — «он Дубай видел, мне его носить неприлично».

Бабка Нюра пришла — и села в красный угол. Под иконы. Сразу. Как к себе.  
У неё под тулупом что-то шуршало.

Я знала что.

Письмо.

Тринадцатое.

Она его неделю писала. Мне сказала — «Галка, не мешай, у меня ответ».

\* \* \*

К четырём — отец Сергей. С матушкой. Матушка — с вареньем. Отец Сергей — с банкой. Пустой.

— Это — под песок, — объяснил отец Сергей. — Вдруг он привёз.

Это у него коллекция. Песок. Со всего мира. В банках. Кто куда едет — привозит. Год назад я ему привезла — из Дубая. Две банки. С пляжа и из пустыни. Он их поставил — на почётное место. На полку. Под иконой Николая Чудотворца. Сказал — «Николай Угодник — покровитель путешественников. Пусть смотрит».

Потом — Митричева жена. Нина. С холодцом.

Потом — Серёгина жена. Ленка. С тортом. «Наполеон». Двенадцать коржей.

Потом — Толик-пилорама с женой. С грибами.

Потом — Зойка с почты. С лимонадом. Почты у нас нет уже три года. А Зойка — есть. Её все так и зовут — Зойка с почты.

Потом — дачники. Те четверо, которые зимуют. Москвичи. Пенсионеры. Пришли — с конфетами. В коробке. Дорогими. Положили на стол — рядом с Ленкиным «Наполеоном». Посмотрели на «Наполеон». Молча забрали конфеты обратно. Положили — в угол. Я видела.

К пяти — в избе сидело сорок человек.

На лавках. На табуретках. На сундуке. На печи — дети. Шишкинские. Пятеро. Свешивались.

Светочка смотрела на меня.

— Мам, — сказала Светочка. — Это — все?

— Нет, — сказала я.

\* \* \*

Остальные ждали — на улице.

Я выглянула в окно.

На улице — у ворот, вдоль забора, по всей улице до самого клуба — стояли люди.

С фонариками.

Как год назад. Когда мы из Дубая вернулись. Тогда вся деревня тоже вышла — встречать. С фонариками. Сто сорок человек.

Сейчас — больше.

Из района приехали. Из Судиславля. Из Лосева. Из Шишкина-Починка — там живёт Шишкин-старший, брат нашего Шишкина, он тоже Шишкин, у них вся деревня Шишкины. Приехали — на машинах. Машины — встали у трассы. На повороте. Дальше — не проехать. Пешком пошли. Восемь километров. По пояс.

Посмотреть на шейха.

А у клуба — горели фонари.

Три. Новые. Жёлтые. Сорокин починил.

Под фонарями — стоял сам Сорокин.

В пальто. В кроличьей шапке. Один. Без Игоря. Без Елены Викторовны. Без растяжки. Без оркестра.

Только за ним, у крыльца клуба, — стояли дети.

Двенадцать штук. В шубках. В шапках с помпонами. Девочки — в кокошниках. Поверх шапок.

Ансамбль «Колокольчик».

Я посмотрела на Сорокина.

Сорокин посмотрел на меня. Через улицу. Через окно.

Развёл руками.

Мол — договаривались без программы. Но — дети. Дети сами пришли. Дети — хотели.

Я кивнула.

Детям — можно.

\* \* \*

В шесть зазвонил телефон.

Светочкин. Светочкин ловит в избе лучше моего — у неё телефон дубайский, дорогой.

Ловит даже без варенья.

Лёша.

— Света, — сказал Лёша. — Мы на повороте. Пересели. Едем.

— Как он? — спросила Светочка. — Как дедушка?

Лёша помолчал.

— Свет, — сказал он. — Он — смотрит.

— Что?

— Смотрит. На всё. Молчит. И смотрит. — Пауза. — Свет. Я двенадцать лет на лодке.

Я такого лица не видел. Ни у кого.

— Какого?

Лёша подумал.

— Как у ребёнка, — сказал он. — На ёлке.

\* \* \*

Ехали они — два часа.

Восемь километров. Два часа. Митрич потом говорил — нарочно медленно. Чтоб не растряссти. Я Митричу не верю. Я думаю — «Т-40» быстрее не может. Он с семьдесят девятого года. Он старше Светочки.

Но — довёз.

В восемь вечера — на дальнем конце улицы, у леса, у Серёгиного дома — показался свет. Фара.

Одна. У «Т-40» вторая не горит — с девяносто шестого.

Тарахтение. Знакомое. Митричево.

И вся улица — сто сорок человек, двести, я не знаю сколько — подняла фонарики.

Разом.

Как будто кто-то скомандовал.

Никто не командовал.

\* \* \*

Я вышла на крыльцо.

В шубе. Белой. Новой. Светочкиной. Которую я боялась носить.

Мутоновую — я отдала. Заранее. Коле. С собой. В Кострому. Сказала — «на вокзале — надень на него. Сразу. Как выйдет из вагона. Без разговоров».

Коля — надел.

Я это увидела — когда сани подъехали.

\* \* \*

Трактор встал у ворот.

Митрич заглушил мотор.

Стало — тихо.

Совсем.

Двести человек. С фонариками. В снегу. Молчат.

Только дети на печи у меня в избе — сопят. Прилипли к окну.  
Сани.  
Большие. Деревянные. На сене. С тулупами.  
В санях — четверо.  
Лёша — сзади. С чемоданами. Обнимает чемоданы — как ребёнка.  
Коля — спереди. В тулупе. В ушанке. Прямой. Как столб.  
Мира — посередине. В пуховике — розовом, Светочкином старом, Светочка ей заранее  
отправила с Колей. В шапке с помпоном. Лицо — красное, мокрое. От мороза. Или — нет.  
И рядом с Мирой —  
Абу Хамад.  
В моей шубе. Мутоновой. С девяносто седьмого года. Она ему — до пят. Рукава — под-  
вёрнуты.  
В Колиной ушанке. Великоватой. Съехала на брови.  
Под шубой — белое. Длинное. Его. Кандура. Мне Мира говорила, как называется. Торчит  
из-под шубы. До валенок.  
В Колиных валенках.  
Тех самых. Которые Коля ему отдал на причале. Год назад.  
Он их привёз — обратно.  
В Кочки.  
На себе.  
Борода — седая. Белая. В инее. Брови — в инее. Ресницы — в инее.  
Он сидел в санях.  
И — не двигался.  
Смотрел.  
На улицу. На дома. На трубы — дымят. На сугробы — до окон. На фонари. На людей.  
На двести фонариков — в темноте. На звёзды — над лесом.  
Двести человек смотрели на него.  
Он — на них.  
Тишина.  
\* \* \*  
Потом Мира что-то сказала ему. Тихо. По-арабски.  
Он кивнул.  
Медленно.  
Взялся за край саней. Рукой — в Колиной варежке.  
Коля — встал. Первым. Вылез. Подал руку.  
Абу Хамад взялся за Колину руку.  
И — вылез.  
Тяжело. С палочкой. Шуба — путалась. Валенки — проваливались.  
Встал.  
На снег.  
На наш снег.  
Кочкинский.  
Постоял.  
Потом — наклонился.  
Медленно. С палочкой. Как старики наклоняются. Сначала — спина. Потом — колени.  
Снял варежку. Колину.  
И — положил ладонь. Голую. На снег.  
Подержал.  
Долго.

Двести человек — молчали.

Абу Хамад поднял руку. Посмотрел на ладонь. Мокрую. Красную.

Сказал что-то.

Мира — у саней — закрыла рот рукой.

Потом — перевела. Громко. Для всех.

— Он говорит, — сказала Мира. — «Он — живой».

\* \* \*

Я потом спрашивала Миру. Что он имел в виду.

Мира сказала — дедушка всю жизнь думал, что снег — это как песок. Белый песок. Холодный. Сухой. Мёртвый. Как в кино. А он — тает. Под рукой. Он — тёплый внутри. Он — живой.

Я сказала — «Мирочка. Снег — холодный».

Мира сказала — «для дедушки — тёплый».

Я не стала спорить.

\* \* \*

Абу Хамад выпрямился.

Огляделся.

Увидел меня. На крыльце.

В белой шубе.

И — улыбнулся.

Той самой улыбкой. Как на причале. Год назад. Когда я ему мазь на руки мазала, а он смотрел на меня и улыбался беззубо, во весь рот, как будто я ему не мазь мажу, а жемчуг отдаю.

Он сказал — одно слово.

Громко. Через всю улицу. Через двести человек.

— Шейха!

И я — сбежала с крыльца.

Опять. Как со Светочкой.

Только теперь — в валенках. Я научилась.

\* \* \*

Я не буду рассказывать, как мы обнимались.

Это — неприлично. Ему — вообще нельзя обниматься с чужими женщинами. Мне Мира говорила. Я и не обнималась. Я — подбежала. И встала. Перед ним. И взяла его руки — обе. Голые, красные, мокрые. В свои. И — подула. На пальцы. Как Светочке в детстве.

Это — можно. Это — фельдшер.

Абу Хамад смотрел на меня.

На мою белую шубу. На оренбургский платок. На колоски на пальце — рядом с медным.

Сказал что-то.

— Он говорит, — сказала Мира, — «ты носишь кольцо. И мою жемчужину?»

Я похлопала себя. По груди. Слева.

— Здесь, — сказала я. — В кармашке. Самое надёжное место.

Мира перевела.

Абу Хамад — засмеялся.

Громко. Беззубо.

И двести человек на улице — выдохнули.

Разом.

Как будто им разрешили.

\* \* \*

А потом — заиграла гармошка.

Нет — баян.

Нет — гармошка. Не наша. Детская.

У клуба. Под фонарями. Ансамбль «Колокольчик». Двенадцать человек. В кокошниках  
поверх шапок. Руководитель — Елена Викторовна, всё-таки приехала, в шубе, — с гармошкой.

И дети — запели.

Не «Калинку».

«В лесу родилась ёлочка».

Тоненько. Вразной. С мороза. Самая маленькая — в первом ряду, лет пяти — пела  
громче всех и на два слова впереди.

Абу Хамад — обернулся.

Посмотрел на детей.

Слушал.

Долго.

Потом — приложил руку к груди. К шубе. Мутоновой.

И — поклонился. Детям.

Низко. Как старики кланяются. С палочкой.

Самая маленькая — в первом ряду — перестала петь. Посмотрела на него. И — тоже  
поклонилась. В кокошнике. Кокошник упал в снег.

Сорокин стоял под фонарём.

В кроличьей шапке.

И — вытирал глаза. Варежкой.

Я видела.

\* \* \*

А потом из толпы вышла бабка Нюра.

Как она вышла — я не знаю. Она ж в избе сидела. В красном углу. А тут — в первом  
ряду. У ворот. С клюкой. В тулупе.

Девяносто два года.

Она подошла — к Абу Хамаду.

Он — к ней.

Остановились.

Бабка Нюра — маленькая. Ниже меня. Он — тоже не высокий. Но выше.

Бабка Нюра посмотрела на него. Снизу вверх. Долго. Прищурилась.

— Ты, что ли, — сказала бабка Нюра, — Фатимин брат?

Мира перевела.

Абу Хамад кивнул. Поклонился. Приложил руку к груди.

Это — у них. Тётя Фатима — его сестра. Старшая. Восемьдесят восемь лет. В Дубае. А  
бабка Нюра с ней — переписывается. Год. Через Миру. Мира переводит. Бабкины письма —  
на арабский. Фатимины — на русский. Двенадцать писем — туда. Двенадцать — обратно.

Это всё — с прошлого Нового года. Когда я в Дубае показала тёте Фатиме фотографии.  
На телефоне. И на одной — бабка Нюра. В валенках. С санками. А вживую они друг друга не  
видели. Ни разу. Даже по видео: бабка Нюра телефону не доверяет. Говорит — письмо хоть  
в руках подержать можно.

И тётя Фатима сказала — «у меня есть сестра. В снегу».

И бабка Нюра сказала — «у меня есть сестра. В песке».

Так и пишут. «Дорогая сестра». С тех пор.

Бабка Нюра полезла за пазуху. В тулуп.

Достала — конверт. Толстый. Пухлый. Перевязанный ленточкой. Красной. От торта.

— Ей, — сказала бабка Нюра. — Фатиме. Ответ. Двенадцать писем написала. За год.

Это — тринадцатое. Отвези.

Абу Хамад взял конверт.

Посмотрел на бабу Ньюру.

Сказал что-то.

— Он говорит, — сказала Мира, — тётя Фатима тоже написала. Двенадцать. — Мира достала из сумки конверт. Такой же толстый. — Это — тринадцатое. Ей — вам.

Бабу Ньюру взяла.

Посмотрела на конверт. На буквы — арабские, вязью. И ниже — русские, Мириной рукой: «Анне Степановне. Большие Кочки. Сестре».

Сунула — за пазуху. К сердцу.

— Дома прочитаю, — сказала она. — С очками.

И — пошла.

Обратно. Сквозь толпу. С клюкой.

Двести человек — расступились.

\* \* \*

Потом — я помню плохо.

Помню — Абу Хамада вели в избу. Коля — под одну руку. Лёша — под другую. Мира — сзади, с палочкой.

Помню — на крыльце он остановился. Посмотрел на дверь. На наличники. Колины. Резные. С колосками.

Потрогал. Пальцем. Колосок.

Помню — в сенях он снял валенки. Сам. Аккуратно. Поставил — рядом. Носками — к стене. Как туфли — у входа в мечеть. Мне Мира потом сказала.

Помню — в избе он встал на пороге.

И увидел — сорок человек.

На лавках. На сундуке. На табуретках. Дети — на печи.

Сорок человек — встали.

Все.

Даже Митрич. Он уже сидел — за столом. Успел.

Абу Хамад посмотрел на них.

На стол — от стены до стены. На пироги. На рыбник. На кулебяку. На огурцы. На холодец. На «Наполеон». На конфеты москвичей — в углу.

На печь. На детей.

На красный угол. На иконы. На лампадку.

И — на южную стену.

Там — дощечка. Колина. Со стрелкой.

Он посмотрел на стрелку.

Долго.

Повернулся к Мире. Спросил что-то.

Мира посмотрела на дощечку. На Колю. Спросила Колю — тихо.

— Николай Иванович. Это — что?

— Кыбла, — сказал Коля.

Мира — замерла.

Перевела.

Абу Хамад посмотрел на Колю.

Коля стоял. У печки. В тулупе ещё. Не снял. Смотрел — в пол.

— Скажи ему, — сказала я Мире. Тихо. — Скажи — Коля два часа считал. По атласу. С компасом. С трактора. И уборную — перенёс. Трактором. На двенадцать метров. Чтобы — не на уборную.

Мира посмотрела на меня.

— Уборную?

— Туалет, — сказала я. — Деревянный. Во дворе. Он стоял — на юге. На кыбле. Коля его — перенёс.

Мира открыла рот.

Закрыла.

Повернулась к дедушке.

И — перевела.

Долго. Подробно. С руками. Я видела — она показывала руками, как трактор тянет туалет.

Абу Хамад слушал.

Не двигался.

Потом — пошёл.

Через горницу. Мимо стола. Мимо сорока человек.

К Коле.

Встал — перед ним.

Маленький. Сухонький. В белой кандуре. Без валенок — в носках. Шерстяных. Моих — я ему связала, Коля в Кострому отвёз.

Перед Колей. Метр девяносто. В тулупе.

Посмотрел на него. Снизу.

И — взял за руку.

Обеими руками. Колину — в мазуте. С семьдесят восьмого.

Подержал.

Сказал что-то.

Тихо.

Мира — не перевела.

Стояла. Смотрела. Плакала.

— Мира, — сказала я. — Что он сказал?

Мира вытерла глаза.

— Он сказал, — сказала Мира, — «брат мой. Ты передвинул дом для моего Бога».

\* \* \*

Коля ничего не ответил.

Коля посмотрел на Абу Хамада. Сверху.

Шевельнул усами.

И сказал:

— Ну.

Абу Хамад — кивнул.

Он понял.

Он — единственный, кроме меня, кто понимает Колино «ну».

Мира говорит — у них в арабском такого слова нет.

Я думаю — есть.

Просто его не произносят.

Им — молчат.

\* \* \*

Ночью Абу Хамад лёг — в нашу кровать.

Мы с Колей — на печь.

Коля свесил ноги.

Над горницей. Над Мирой на диване.

Мира сказала — «Николай Иванович, мне не мешает».

Коля сказал — «ну».

Ноги — не убрал. Некуда.

Я лежала на печи. Рядом с Колей. Тесно. Тепло. Кирпичи — горячие. Сорок лет назад я тут лежала — со Светочкой в животе. Одна.

Теперь — с Колей.

В избе было тихо.

Только — дышали.

Светочка с Лёшей — за перегородкой. Мира — на диване. Коля — рядом. Абу Хамад — в нашей комнате, в нашей кровати. Под нашим одеялом. Ватным. Под иконой — маленькой, Казанской, которая у нас в спальне висит.

И — Борька.

За стенкой. В хлеву.

Борька вернулся от Шишкиных — опять. Вечером. Пока все встречали. Пролез под забором. Пришёл домой.

И теперь — вздохнул.

Громко. Тяжело. Как человек.

Из нашей комнаты — шорох. Абу Хамад — не спал.

Слушал.

Я замерла.

Коля — тоже.

Тишина.

Потом — из комнаты. Голос. Тихий. Старческий. Он что-то спросил. По-арабски. В темноту.

Мира — с дивана — ответила. Сонно.

Пауза.

Абу Хамад сказал что-то ещё.

И — засмеялся. Тихо. В темноте. Под нашим одеялом.

— Мира, — прошептала я. С печи. — Что?

Мира — тоже шёпотом:

— Он спросил — кто там вздыхает за стеной. Я сказала — поросёнок. Хозяйский. Он спросил — как его зовут. Я сказала — Борька.

— И что он?

Мира помолчала.

— Он сказал — «у моего отца на острове был осёл. Тоже вздыхал по ночам. Его звали — Хамад. Как меня. Отец говорил — чтобы не путаться».

Я лежала на печи.

Коля лежал рядом.

Коля — затрясся.

Я сначала испугалась. Думала — сердце.

Потом — поняла.

Коля смеялся.

Беззвучно. На печи. Сорок один год я с ним живу — я не слышала, как он смеётся. Он смеётся — усами. А тут — трясся весь. Печь — тряслась. Ноги — над горницей — тряслись.

— Коля, — прошептала я. — Ты что?

Коля — перестал. Не сразу.

Вытер глаза.

— Чтобы не путаться, — сказал Коля.

И — опять.

\* \* \*

Я не уснула до трёх.

Лежала. На горячих кирпичах. Слушала. Как дышит мой дом.

Шестеро человек. Один поросёнок. И — где-то там, за стеной, на юге, чуть правее, сквозь огород, сквозь лес — Мекка.

А на востоке — иконы. И лампадка.

А на подоконнике — у варенья — телефон. Светочкин. Мигает. Сообщение. От Любы. Голосовое. Я не стала слушать. Я знала, что там.

Там — восемь минут.

Про шейха.

Который положил руку на снег.

И сказал — «живой».

## **Глава 5. Мира.**

### **В которой я записываю русскую зиму**

Мой профессор сказал: «Полевой дневник — это главный инструмент лингвиста. Записывайте всё. Даже то, что кажется вам незначительным. Особенно то, что кажется вам незначительным».

Я записываю всё.

Меня зовут Мира бинт Халид. Мне двадцать один год. Я студентка четвёртого курса. Я изучаю русский язык шесть лет и до двадцать девятого декабря две тысячи двадцать седьмого года считала, что я его знаю.

Это была ошибка.

Ниже привожу записи из моего дневника без изменений. Галина Петровна прочитала их и сказала: «Мирочка, ты это в университет не показывай, там люди приличные». Но я считаю, что наука должна быть честной.

\* \* \*

\*Запись 1. 29 декабря, 23:40. Диван в горнице.\*

Над моей головой висят ноги Николая Ивановича.

Я пишу это не в качестве жалобы. Я пишу это как факт. Ноги большие, в шерстяных носках, очень аккуратно заштопанных. Они свешиваются с печи. Николай Иванович спросил, не мешают ли они мне. Точнее, он посмотрел на ноги, потом на меня, а потом сказал: «Ну?»

Я ответила: «Николай Иванович, мне не мешает».

Он сказал: «Ну».

Это первые два примера за сегодня. Они интонационно различаются. Первое «ну» — вопросительное, означает: «Простите за неудобство, которое я вам причиняю своими ногами, и не могли бы вы сказать, если это вас беспокоит». Второе — утвердительное, означает: «Благодарю вас за такт, но я всё равно понимаю, что вам мешает, и я огорчён».

Заношу в картотеку.

Слово: НУ. Часть речи: не установлена.

\* \* \*

\*Запись 2. 30 декабря, 06:10.\*

Я проснулась в полной темноте от того, что в избе кто-то ходит.

В Дубае никогда не бывает полной темноты. Там всегда есть свет снизу, от города. Здесь темнота такая, будто тебя положили в ящик и закрыли крышкой. Я лежала и слушала. Скрипнули половицы. Потом что-то звякнуло. Потом я услышала, как льётся вода.

Я встала. Взяла телефон с фонариком.

Дедушка стоял у печи, в кандуре, с закатанными рукавами. Перед ним на табуретке стоял эмалированный таз с синим ободком. А рядом с тазом стоял Николай Иванович. В тулупе, надетом на нижнее бельё. С ковшом.

От ковша шёл пар.

Дедушка подставлял руки. Николай Иванович лил. Дедушка умывал лицо, потом руки до локтей, потом протирал голову и ноги. Это омовение. Его совершают перед молитвой, и дедушка совершает его всю жизнь, каждый день, пять раз. В Дубае для этого есть кран.

Николай Иванович лил воду очень медленно и очень точно. Как будто наливал бензин в чужой мотоцикл.

Вода была горячей. Он встал раньше и нагрел её. Потом я узнала: на вчерашнем ужине он спросил у меня, когда у дедушки первая молитва. Я сказала: на рассвете, около половины седьмого. А как он будет мыться? Я сказала: не знаю, Николай Иванович, у вас колодец и там минус двадцать семь. Николай Иванович сказал: «Ну».

Это, как теперь выяснилось, означало: «Я встану в пять, натаскаю воды, растоплю печь и буду стоять с ковшом».

Когда дедушка закончил, Николай Иванович подал ему полотенце. Потом вышел из кухни, вернулся и положил на пол, под дощечкой со стрелкой, что-то круглое и плоское.

Это был компас.

Дедушка посмотрел на компас. На стрелку на стене. Они показывали одно и то же.

Дедушка кивнул. Николай Иванович кивнул. И встал у двери спиной к горнице, в тулупе, скрестив руки. Как часовой.

Он простоял так всю молитву. Семь минут. Никто ведь не войдёт в избу в половине седьмого утра, кроме него самого. Но он стоял.

Я спросила потом: «Николай Иванович, зачем вы стояли у двери?»

Он подумал.

— Дует, — сказал он.

Я записала. Но я не думаю, что это слово означало «дует».

\* \* \*

\*Запись 3. 30 декабря, 07:30. Об уборной.\*

Мой профессор просил записывать только относящееся к речи. Однако я считаю, что этот опыт сформировал моё понимание русского языка.

Уборная находится в двенадцати метрах левее того места, где она находилась раньше. От крыльца к ней ведёт тропинка шириной в один валенок. Температура составляет минус двадцать семь градусов.

Галина Петровна дала мне указания. Цитирую дословно:

«Пойдёшь — шубу надень. Шапку надень. Рукавицы не снимай, пока не надо. Там на гвозде дощечка из пенопласта. Её подложишь. Без неё не садись, Мирочка, примёрзнешь, у нас в девяносто четвёртом был случай с агрономом. И не рассиживайся. Это тебе не Дубай».

Я не рассиживалась.

Новые слова: «не рассиживайся», «агроном» (в значении: человек, с которым был случай).

Когда я вышла, небо начало светлеть. Оно было розовое. Я никогда не видела такого цвета на небе. Снег был тоже розовый. Над всеми трубами стояли прямые столбы дыма, как колонны в мечети. Было так тихо, что я слышала, как у меня скрипят ресницы.

Я простояла на тропинке минуты три, и у меня замёрзли зубы. Я не знала, что зубы могут замерзать.

На обратном пути я встретила Бориса. Это поросёнок. Он стоял посреди двора, с пятном в форме Африки на боку, и смотрел на меня. Галина Петровна выбежала с ведром и закричала: «Борька, ирод, опять! Мирочка, ты дедушке не говори!»

Дедушка стоял на крыльце в шубе. Он смотрел на поросёнка. Поросёнок смотрел на дедушку.

Дедушка сказал мне по-арабски: «Скажи хозяйке, что мы уже знакомы. Вчера ночью мы хорошо побеседовали через стену».

Я перевела. Галина Петровна села на ведро.

\* \* \*

\*Запись 4. 30 декабря, 11:00. Завтрак.\*

На завтрак Галина Петровна подала:

- кашу пшённую с маслом;
- блины;
- сметану;
- яйца варёные, четыре штуки на человека;
- рыбник вчерашний;
- пирожки вчерашние, три вида;
- творог;
- мёд;
- варенье трёх цветов;
- чай.

Дедушка в Дубае завтракает так: финик, кофе, смотрит на море.

Дедушка посмотрел на стол. Галина Петровна посмотрела на дедушку. Она стояла, подперев бока, и я знаю этот взгляд, я видела его год назад в Дейре, когда она заставила семь человек с причала съесть холодец.

Дедушка взял блин.

Он съел его. Он посмотрел на меня. Он спросил по-арабски: «Как называется вот это?»

Я сказала: «Блин, дедушка».

Он попробовал повторить: «Б-лин».

Лёша, который как раз входил с дровами, уронил одно полено.

Я должна пояснить. В русском языке слово «блин» имеет два значения. Первое — круглое изделие из теста. Второе — восклицание, которое произносят, когда у человека что-то случилось, например он уронил полено.

Я пыталась объяснить дедушке. Я сказала: это такой хлеб. И ещё это слово, которое говорят, если больно.

Дедушка долго думал.

— Мудро, — сказал он. — Хлеб и боль. Одним словом. Это очень старый народ.

Он съел ещё шесть.

Галина Петровна сосчитала. Я видела, как она считает: не глядя, углом глаза, и на лице у неё было такое выражение, как у дедушки, когда леска дёрнулась.

— Мирочка, — сказала она. — Спроси, он ещё будет?

Дедушка сказал, что больше не может.

Я перевела.

— Ну-ну, — сказала Галина Петровна и положила ему ещё два.

Новое слово: НУ-НУ. Не является удвоением слова НУ. Означает: «Я слышала, что вы сказали, и не придаю этому значения».

\* \* \*

\*Запись 5. 30 декабря, 14:00. Магазин.\*

Мы пошли в магазин. Я должна начать сбор материала.

Магазин называется «Продакты». Я указала на это Галине Петровне как на ошибку, потому что я учила правила. Она взяла меня за локоть, и мы немного отошли. «Мирочка, — сказала она. — Никогда. Никому. Особенно Любе. Это Толя писал».

Я не поняла. Я записала: уточнить, кто такой Толя.

Любовь Андреевна сидела за прилавком. Рядом с ней на кассовом аппарате лежал кот размером с небольшую овцу. Кот посмотрел на дедушку. Дедушка посмотрел на кота и поклонился. У нас в Эмиратах очень уважают кошек. Кошка может войти даже в мечеть, потому

что пророк, мир ему, любил кошек и однажды, как рассказывают, отрезал рукав своей одежды, чтобы не будить спящую на нём кошку.

Я перевела это Любове Андреевне.

Любовь Андреевна посмотрела на кота. Потом на дедушку.

— Скажи ему, — сказала она, — что этот — не проснётся, даже если я весь рукав отрежу. Вместе с рукой.

В магазине было четырнадцать человек, и все они покупали спички. На дедушку смотрели все. Никто не смотрел прямо: смотрели на полки, но в сторону дедушки. Один мужчина держал коробок спичек вверх ногами и изучал его.

Тут дверь открылась, и вошёл Митрич. Я спросила, как его полное имя. Никто не знает. Я заранее подготовила о нём отдельную страницу, потому что Галина Петровна сказала: «Мирочка, это золотая жила. Только не стой близко».

Он подошёл к дедушке. От него пахло трактором и чем-то сладким. Он взял дедушку за плечи и сказал:

— Хамадыч! Ну! С приездом! Это ж надо отметить!

И достал из внутреннего кармана бутылку.

Бутылка была без этикетки. Жидкость в ней была слегка мутная. Все четырнадцать человек перестали изучать спички.

Я быстро сказала: «Простите, дедушка не употребляет алкоголь, это запрещено нашей верой».

Митрич посмотрел на меня. Он смотрел с очень большим состраданием.

— Совсем? — сказал он.

— Совсем.

— С рождения?

— С рождения.

— И ни разу?

— Ни разу.

Митрич повернулся и посмотрел на дедушку. Он смотрел на него так, как смотрят на человека, потерявшего обе ноги на войне. Потом снял шапку. Я не преувеличиваю. Он снял шапку и постоял немного.

— Семьдесят три года, — сказал Митрич тихо. — Ну как же ж ты, отец, живёшь-то.

Я перевела дедушке. Он внимательно выслушал. Потом он положил свою руку на руку Митрича и сказал несколько слов.

— Дедушка говорит, — перевела я, — что он живёт хорошо, но ему очень приятна ваша забота. Он говорит: у вас доброе сердце. И ещё он спрашивает: у вас что-то с печенью? Он видит по глазам. Такие глаза были у одного его друга, капитана из Басры.

В магазине стало очень тихо.

Любовь Андреевна положила на прилавок калькулятор.

— Ну всё, — сказала она. — Шейх. Точно шейх. Двадцать лет Галка ему про печень говорит, а этот приехал и за один день увидел.

Митрич надел шапку. Убрал бутылку. Купил кефир.

Я считаю необходимым отметить: я никогда не видела, чтобы Митрич покупал кефир. Но никто в магазине этого тоже не видел. Об этом сказала Любовь Андреевна, причём сразу в свой телефон, держа его у рта как бутерброд.

\* \* \*

\*Запись 6. 30 декабря, 16:30. Как называть дедушку.\*

К вечеру я составила таблицу. Его теперь называют:

— «Абу Хамад» — Галина Петровна, Николай Иванович (но Николай Иванович никак его не называет, он говорит «ну»);

— «Хамадыч» — Митрич;  
— «отец» — Митрич же, когда растроган;  
— «шейх» — все остальные, включая детей;  
— «шейх наш» — Любовь Андреевна, с иронией;  
— «Хамид Абдулович» — глава района, по телефону, он пытался узнать отчество;  
— «ваше сиятельство» — один дачник из Москвы;  
— «дед» — бабушка Нюра. Она сказала: «Какой он шейх. Дед и дед. Я его на двадцать лет старше».

Я сообщила дедушке, что слово «шейх» здесь применяют ошибочно. Я сказала: они думают, что у тебя есть нефть и миллиарды. Мне очень неудобно. Галина Петровна всем объясняла, но ей не верят.

Дедушка сидел на лавке у окна и смотрел на сарай, из которого доносилось строгание.

— Шейх, — сказал он, — это по-нашему просто «старик». Уважаемый старик. Я старик?

— Старик, дедушка.

— Я уважаемый?

Я подумала о том, как сегодня утром с ним здоровались. Дети сняли шапки и кричали «ассалюму алейкум» с ударением на все слоги. Батюшка здоровался у колодца. Женщина, которую я не знаю, принесла банку солёных грибов, поставила на крыльцо и убежала.

— Да, — сказала я.

— Тогда зачем ты их поправляешь? — сказал дедушка. — Они говорят правду. А нефть пусть думают что хотят. Нефть меня никогда не любила.

Он вернулся к окну.

Мой дедушка не очень много разговаривал. После смерти бабушки, пять лет назад, я слышала от него иногда не больше десяти слов за день. Дома, в Дейре, он приходил с причала, ел, молился и садился в маджлисе, глядя в стену. Мой отец и мои дядя говорили между собой: дед ушёл вслед за ней, только тело задержалось.

Сегодня я насчитала двести четырнадцать слов. Я считала. Я лингвист.

\* \* \*

\*Запись 7. 30 декабря, 21:15. О том, зачем я здесь на самом деле.\*

Этого я не покажу профессору.

Семестр начинается в феврале. Мы приехали в декабре. Дедушка настоял. Он сказал: я должен увидеть их Новый год. Но дело в другом, и я это знаю, хотя вслух мы об этом не говорим.

Весной прошлого года дедушка упал на причале. Несильно. Врач в Дубае сказал: сердце немного устало. Мои дядя собрались в маджлисе и сказали: отец, хватит ходить на причал. Переезжай к нам в Абу-Даби, у нас большая вилла, бассейн, медсестра, специальная кровать, которая поднимается кнопкой. Там очень хорошо. Там никогда не бывает пыли и сквозняков.

Дедушка молчал. Он слушал их три вечера подряд.

На четвёртый вечер, когда я мазала ему руки мазью Галины Петровны, он спросил: «Мира, какая там у них погода, в России, зимой?»

И когда мне дали грант, а профессор спросил, куда я поеду, я выбрала место, потому что знала: девушка не может поехать одна. Значит, кто-то должен её сопровождать. И дедушка встанет в маджлисе, стукнет палкой и скажет: сын мой, я не могу отпустить внучку одну в чужую страну, это вопрос чести. Вилла подождёт.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.